Любовный Исторический Роман

Елена Арсеньева

ОБРУЧЕНИЕ НА ЧЁРТОВОМ МОСТУ

Елена Арсеньева
Обручение на чертовом мосту

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161539
Обручение на чёртовом мосту: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-21699-4

Аннотация

Объяснение в любви, поцелуи, тайное венчание – и вот уже Ирена Сокольская жена графа Игнатия Лаврентьева! Осталось всего ничего: получить благословение батюшки – и жить как настоящая семья. Но что это? Игнатия в имении никто не встречает подобающим образом. Более того, оказывается он… крепостной! А значит, и его супруга тоже. Чтобы смыть позор, Лаврентьев убивает себя. Ирена пытается спастись бегством, но на Чертовом мосту ее ждет засада. Или не засада, а сама судьба – в виде прекрасного незнакомца, объятия которого показались ей дороже всего на свете…

Содержание

ПРОЛОГ 4
Глава I 12
Глава II 27
Глава III 48
Глава IV 68
Глава V 75
Конец ознакомительного фрагмента. 84

Елена Арсеньева
Обручение на чертовом мосту

Раба ли я, или подруга – знает Бог.
Е. Ростопчина

ПРОЛОГ

– Не желаете ли, господа, все-таки примириться?

Берсенев криво улыбнулся. К чему дурацкие вопросы? Впрочем, этого требует дуэльный кодекс… Ах, как напыжился его противник! Полнейшее ничтожество, расфранченный хлыщ, блестящие лайковые перчатки которого, кажется, составляют его единственное право на звание человека. У этого господина такой вид, словно он впервые прилично оделся. Надо думать, и дуэльное оружие он возьмет в руки впервые, а стало быть, не попадет в цель.

Эх, жаль! Берсенев будет держать хорошую мину при плохой игре, однако он-то знает: с такой охотой принял вызов именно потому, что решил предоставить судьбе шанс. Как это аттестовали его на днях: «С такой хандрой просто неприлично появляться между людьми! Первый раз вижу челове-

ка, который утратил вкус к жизни после получения столь громадного наследства!»

Он утратил не вкус к жизни. Он утратил счастье всей своей жизни!

Некое имя прошелестело в его памяти, словно цветущая ветвь сирени. Странное, прекрасное имя. Раньше он слышал его не раз, но тогда оно звучало обыкновенно, казалось совершенно обыденным. И лишь применительно к ней, к ней одной…

Берсенев очнулся, почувствовав вдруг, что все уставились на него: и этот юнец, Станислав Белыш, его новоиспеченный знакомец и секундант, и секундант противника, и сам противник, прорычавший:

– Мириться с этим негодяем? С этим ничтожеством? Да ни за что на свете!

– Довольно, – попросил Берсенев почти ласково. – Вы уже все сказали, что следовало, и этого вполне достаточно, чтобы я убил вас десять или десятижды десять раз. И, может быть, хватит время терять? Я еще надеялся быть сегодня на Конской площади: если помните, вчера по вашей милости я так и не купил себе жеребца взамен моего ненаглядного Байярда.

И тут же он спохватился – зачем кому-то знать о Байярде, об Адольфе Иваныче, о побегах и предательствах, невозвратимых потерях?

Его противник как-то странно, конфузливо хохотнул. Его одежда, смешки, его нависшие черные брови и рейтарские

усищи казались нелепыми, театральными. Да и фамилия была подобающая: Софоклов. Не фамилия, а словно бы дурной театральный псевдоним. А предлог, под которым он вызвал Берсенева?! Якобы тот обесчестил его сестру!

Услышав это, Станислав Белыш, который до сей минуты взирал на Софоклова насмешливо, помрачнел:

– Ну, коли за сестру… За сестру я бы тоже стрелялся с кем угодно!

Берсенев же только плечами пожал. В жизни не знал он ни одной мамзель Софокловой, не то чтобы бесчестить ее! Разве что в былые времена, когда путался с певичками или девками из нумеров? Но среди них отнюдь не встречалось невинных девиц… Вранье, конечно, какое-то. А, вранье – да и ладно, не все ли равно, отчего помирать?

«Актеришка, – тоскливо подумал Берсенев. – Ну, надо надеяться, стрелять-то тебя выучили на подмостках, или ты просто подымал картонный, раскрашенный пистолет, в то время как за сценою кто-то кричал: «Ба-бах!», в лучшем случае ударяя в деревяшку?»

Он нахмурился. Мучительное воспоминание проплыло в голове, и это опять было связано с нею, с его незабываемой пропажею: как она выскочила на сцену в синем китайковом сарафанчике, полотняной рубашке и новеньких лапотках, а поодаль ударили чем-то деревянным, словно бы выстрелили, и она вздрогнула в притворном испуге, проговорила: «Ах, вот он идет!» – и на ее лице было такое чудесное, несравнен-

ное выражение пробуждающейся любви, ожидания, надежды, что у Берсенева сердце зашлось, ибо он возмечтал, чтобы лишь к нему одному, никому иному, были бы устремлены отныне ее любовь, ожидания и надежды!..

Берсенев тряхнул головой, вызывающе улыбнулся противнику и, повинуясь команде Станислава: «Начинаем. Разойдитесь, господа!» – пошел в густой, как молоко, туман.

Ну что ж, он готов к любому исходу. Дела вполне в порядке. Несколько необходимых писем были написаны ночью, а в их числе – распоряжения по имениям, а также – еще одно, самое для Берсенева важное. Оно было запечатано в конверт с надписью: *Станиславу Бельшу*, а внутри находилась записка, в которой Берсенев поручал своему молодому приятелю исполнить его предсмертную волю и отыскать, пусть и через год, и через десяток лет, некую особу… Здесь Берсенев перечислял все сведения, какими только располагал о ней. Скудны были они, и слабо верилось, что Станиславу удастся совершить то, что не удалось ему самому. Впрочем, оставалась еще надежда на небеса, которые могут проявить снисходительность к последней, предсмертной просьбе.

Да он что, уже почти уверился, что падет от руки этого, как его там… Софоклова?

Берсенев невольно усмехнулся. Чудеса! Чем дальше, тем меньшее отвращение вызывал в нем Софоклов. Конечно, он был негодяй – но какой симпатичный негодяй! Правда, иногда он становился по-вчерашнему патетически гадок, этак

старательно отвратителен. Однако сейчас, когда туман надежно скрыл его ужимки, Берсеневу вдруг показалось, что всю эту отвратительность Софоклов нарочно напускал на себя, и его кошмарные манеры, и повадки, и само оскорбление, за коим последовал вызов, – не более чем спектакль, маскарад. Вообще удивительно, как это Софоклову удалось до такой степени его раззадорить, чтобы поставить на грань выбора между жизнью и смертью.

И тут его размышления были прерваны окликом, долетевшим из белой туманной завесы:

– К барьеру! Сходитесь, господа!

«Пора!» – сказал себе Берсенев и двинулся вперед, отсчитывая шаги и напряженно всматриваясь в мутную кисею, маячившую перед его глазами.

«Один, два… Может быть, вовсе не стрелять? Нет, наоборот, лишь завижу Софоклова, надо выпалить над его головой, а потом уж дать возможность ему… Расстояние-то плевое! Пять, шесть…»

Берсенев поднял руку с пистолетом и невольно вздрогнул, когда впереди забрезжили очертания человеческой фигуры. Как, уже? Он не ожидал, что так скоро… К тому же проклятый туман забавлялся со зрением. Софоклов сделался выше, тоньше, а ужасающие цвета его одежды мутно почернели.

«Семь, восемь…»

Берсенев вскинул пистолет повыше, чтобы пуля наверняка прошла над головой противника.

«Девять… десять!»

Он медленно потянул курок, и…

И нога его скользнула по гладкому корню, словно нарочно вылезшему из земли. Пистолет дернулся вниз, палец резко рванул курок.

Грянул выстрел.

Черный силуэт, качнувшись, высоко взметнул руки – и боком повалился наземь.

Берсенев застыл на месте, медленно опуская отяжелевший пистолет.

– Черт… упал! Ссылка на поселение или крепость от шести лет и восьми месяцев до десяти лет.

– Ну что вы! Не более трех! Уж поверьте, я дело знаю.

– А ежели убит?

– Тогда на поселение пойдет, не миновать. Да и нас не помилуют.

Перебрасываясь короткими, отрывистыми фразами, секунданты со всех ног летели к упавшему.

Берсенев, с трудом заставив себя тронуться с места, медленно шел туда же.

Голова его была пуста до нездешнего гулкого звона, а белые волокна тумана мешались с кровавой мутью, застилавшей глаза.

Секунданты оказались проворнее, вместе подскочили к Софоклову, вместе склонились над ним – и вместе, резко, будто по команде, отпрянули с одинаковым восклицанием:

– О Господи!..

«Наверное, все-таки убил! – похолодел Берсенев. – И, наверное, какая-нибудь ужасная рана. В лицо… может быть, в глаз!»

Его передернуло от ужаса; кое-как заставил свои деревянные ноги передвигаться быстрее.

Тяжело подбежал, навис над головами секундантов – и вдруг замер, как они, потом так же отпрянул – и тоже помянул Господа.

Этот человек, лежавший на тропе, неловко подогнув ногу и разбросав руки, в одной из которых был пистолет… он не был Софокловым! Весь в черном, в высоких «веллингтоновских» сапогах и мягкой «калабрезе», нахлобученной так глубоко, что повисшие поля прикрывали пол-лица, он был одет иначе и выглядел иначе!

– Кто это? Кого вы пристрелили, милостивый государь? – отрывистым, неприязненным тоном спросил секундант Софоклова. – Это убийство, знаете ли, чистейшей воды…

Не слушая, Берсенев распахнул просторный черный сюртук лежащего, да так и ахнул, увидев, что правое плечо все залито красным. Но не только это поразило его в самое сердце. Набухшая кровью белая рубаха ощутимо вздымалась на груди!

– Женщина? – изумленно прошептал секундант.

– Неужели?..

Внезапно Станислав Белыш, издав какое-то неразборчи-

вое восклицание, схватился за шляпу, рванул – и… и тонкие русые волосы хлынули мягкой волной. Станислав сдвинул их дрожащей рукою – открылось нахмуренное лицо, такое бледное, каких не бывает у живых людей, а только у мертвых… или у призраков.

«Призрак, – подумал Берсенев. – Конечно, это призрак!»

И тут же он услышал чей-то глухой, совершенно незнакомый голос, отчаянно зовущий:

– Арина! Господи Боже мой! Арина!

«Это я говорю, – с усилием осознал он. – Это мой голос. Странный какой!»

Мысль мелькнула – и исчезла. Он протянул дрожащую руку к любимому лицу, и вдруг что-то больно рвануло его за плечо.

Оглянулся, тупо уставился на своего секунданта – тоже смертельно бледного, с расширенными, безумными глазами.

– Вы убили мою сестру, милостивый государь! – воскликнул Станислав срывающимся голосом. – Мою сестру! И позвольте вас спросить, какого черта вы называете ее Ариной?!

Глава I
ВЕКИ ВЕЧНЫЕ

«…Если папа узнает – убьет!» – отрешенно подумала Ирена, и в этот миг настойчивый рот Игнатия заставил ее чуть разомкнуть губы.

«О Господи! Я целуюсь! Я в самом деле целуюсь!» Ирена едва не вскрикнула, однако при всем желании сделать это было затруднительно: мешали горячие губы Игнатия.

На миг перед мысленным взором промелькнули вытаращенные глаза Лидочки Константиновой, которая потрясенно слушает снисходительный рассказ Ирены о том, что, собственно, и есть поцелуй; потом с некоторым сожалением Ирена вспомнила, что Лидочка Константинова отныне – всего лишь тень невозвратимого смольненского прошлого; потом всякие детские глупости улетучились из головы Ирены, и она подумала, что, пожалуй, надо как-то отвечать Игнатию, а не стоять столбом. Ведь пока что он целует ее, а слово «целоваться» как-никак предполагает участие двоих…

Но она не знала, что делать. А потому решила повторять все его действия – ведь повторенье, как известно, мать ученья. Поговорка сия употреблялась обыкновенно в ином смысле, однако сейчас Ирене было не до казуистических тонкостей.

Игнатий тихо охнул и так крепко прижал Ирену к себе, что она услышала (а может быть, ей это просто почудилось), как захрустели обручи кринолина. «Наверное, эти кошмарные юбки нарочно придумали, чтобы не давать влюбленным крепко прижиматься друг к другу!» – сердито решила Ирена.

Дыхание Игнатия сделалось прерывистым; Ирена и сама задыхалась в его крепких объятиях, однако и не помышляла прервать их.

Кровь стучала в висках.

«Я сейчас упаду в обморок! – изумленно подумала она. – Лишусь чувств от страсти! Так вот она какая – страсть!»

Вдруг губы Игнатия, оторвавшись от ее рта, скользнули по шее к изгибу плеча и прижались к нему, точно раскаленное клеймо.

Ирена испуганно вскрикнула, уперлась руками в его грудь, и Игнатий выпустил ее мгновенно, повесил голову, бессильно опустив руки.

– Вы отвергаете меня… – прошелестел чуть слышно.

«Ого! – едва не воскликнула Ирена. – А что было только что? Это называется – отвергать?! Еще чуть-чуть – и мы дошли бы до… до…»

Тут мысли ее бестолково заметались, ибо она не знала, до чего бы они дошли. Наверное, до того самого обряда, который превращает девушку в женщину.

«Она стала женщиной!» – произнесла мысленно Ирена голосом Лидочки Константиновой… И вот она уже идет в

своем светло-зеленом платье с белыми рукавчиками и воротничком по дортуару[1], или встает из-за парты в классной комнате, или приседает в реверансе на уроке танцевания, а изо всех углов смотрят на нее девчонки, умирая от любопытства, и шушукаются, почти не размыкая губ, как исхитрились научиться переговариваться – первейшая из наук! – под неусыпными взорами классных дам: «Она стала женщиной! Сокольская стала женщиной!»

Вздор. Никем она не стала. Как Ирена ни наивна, она все-таки не та конфузливая до дикости, потешная, жеманная институтка, какой вышла из Смольного два года назад, и прекрасно понимает, что от первого в жизни поцелуя дети еще не рождаются. Но не смешно ли, что для нее еще имеют какое-то значение прежние институтские каноны?!

Там, в Смольном, они сидели в заточении, как сказочные царевны в замке Кощея. Все только и ждали выпуска. Жизнь представлялась сплошным балом под звуки вальса и мазурки. Почти все подружки уже нашли в этой бальной круговерти постоянного кавалера: вышли замуж. К хорошеньким, пылким и неопытным смольняночкам (особенно с приличным приданым) сватались весьма охотно. Отец Ирены (с ее согласия) отверг трех или четырех серьезных претендентов на руку дочери, а уж сколько признаний в любви до гроба выслушала она сама на балах и вечеринках от знакомых (преимущественно юнкеров, приятелей Иреniного брата Стани-

[1] Дортуар – спальня в закрытом учебном заведении.

слава) и незнакомых молодых людей – того и вовсе не счесть! Конечно, эти «вальсирующие вздохи» она никогда всерьез не принимала, хотя первое время ей становилось страшно, что, отвергнув кого-нибудь, она вынудит несчастного на самый отчаянный шаг. А ведь среди них, затворниц-смольянок, дикарок, попадались такие дурочки, которые были всерьез убеждены, что, если кавалер во время бала приглашает на мазурку (почему-то именно мазурке отводилась сия роковая роль!), это означает предварительное сватовство, за которым незамедлительно последует формальное предложение. Одна девушка, достоверно знала Ирена, прождав напрасно несколько дней своего кавалера с предложением, была так скандализована этим, что бросилась к своему брату-юнкеру (он был из приятелей Станислава, почему Ирене и сделались известны подробности происшествия), умоляя его стреляться с человеком, по мнению девушки, опозорившим ее.

Бог ты мой! А что же говорить тогда о таких поцелуях, как тот, которым Игнатий только что наградил Ирену? Ведь, если принимать институтские каноны, он только что обесчестил ее!

С досадой девушка прикусила губу. Все-таки в ее образовании имеется существенный пробел. «Обесчестить» – загадочный синоним не менее таинственного «сделать женщиной»…

Игнатий стоял, прижав руку к груди, сверкая огромными

черными глазами.

Сердце Ирены сладко заныло. «Господи, как он красив!»

Она нервно сплела пальцы. Из всех писателей она более всего любила Стендаля, пожалуй, потому, что мир его прозы был населен бледными, страстными, замкнутыми красавцами и у всех были черные волосы и черные глаза: у Жюльена Сореля, у карбонария Пьетро, у… как его там звали, этого восхитительного юношу из «Пармской обители»?! Забыла… стыд какой! А впрочем, карбонарий Пьетро был вроде бы белокурый…

Впрочем, Ирена, которой до дрожи нравились бледные романтические брюнеты с пламенным взором, с легкостью перекрашивала в жгуче-черный цвет всех книжных блондинов. В ее воображении даже Тристан был черноволос! И хотя черты их расплывались и менялись в ее воображении, однажды она поняла, что все ее любимые герои имели вполне определенные черты: безукоризненно очерченные дуги бровей, волну иссиня-черных кудрей, ниспадающих на высокий бледный лоб, изысканный профиль, яркий рот – и глаза… огромные черные глаза, зеркально-сверкающие, миндалевидные, с чуточку опущенными внешними уголками, что придавало им отрешенное, печальное, мечтательное выражение. Ирена в жизни не видела человека красивее Игнатия и, хотя она была высокого, пожалуй, преувеличенно высокого мнения о своей наружности, чувствовала себя рядом с ним довольно-таки бледной, пожалуй, даже бесцветной и

с восторгом ловила каждую мелочь, которая свидетельствовала: этот ошеломляющий красавец истинно в нее влюблен. Стоит только послушать, что он говорит!

– Я люблю вас! Люблю так страстно и нежно, как никто и никого еще не любил со времен сотворения мира. Тот огонь, который вы зажгли в моем сердце, не погасит даже вся мощь Ниагарского водопада!

«Где это? – вдруг подумала в ужасе Ирена, которая страшно растерялась и почувствовала себя испуганной девочкой на уроке, к которому не приготовилась. – В Африке? В Америке? Кажется, там Стэнли встретился с Ливингстоном? Или, наоборот, Ливингстон со Стэнли… Идиотка! Это было возле водопада Виктория в Центральной Африке!»

Вспомнив правильный ответ, Ирена неожиданным образом приободрилась и наконец сообразила потупиться, как подобает воспитанной девице: до этого она во все глаза глядела на Игнатия, впитывая его слова так же самозабвенно, как несколько минут назад принимала его поцелуи (и отвечала на них, заметьте себе!).

– Ах, я люблю вас! – Игнатий поднес к губам руку Ирены, осыпав ее мелкими поцелуями, и губы его были столь горячи, что ей почудилось, будто на кисть брызнули раскаленные искры, прожигавшие даже сквозь перчатку. – Я люблю вас безумно, я готов отдать жизнь за вас, но…

– Но?.. – с трепетом переспросила Ирена, во всю ширь распахивая глаза: какое здесь вообще может быть «но»?!

– Но я прекрасно понимаю, что этим признанием я подписываю себе смертный приговор! – звонким, срывающимся голосом произнес Игнатий. – Ваши родители никогда, никогда не согласятся на наш брак! А это значит… значит…

«Застрелится! Непременно застрелится!» – подумала Ирена со сладким ужасом.

Ей даже в голову не пришло, что Игнатий может утопиться – топятся в романах обыкновенно разочарованные или обманутые девицы – или повеситься: эту неэстетичную смерть выбирают несостоятельные должники, промотавшиеся картежники, пустившие по миру свое несчастное семейство, и прочие скучные люди.

Нет, романтический герой должен непременно стреляться! И сию же минуту пылкое воображение нарисовало стройную фигуру Игнатия, беспомощно раскинувшуюся на кремовом обюссонском ковре (почему-то именно этот ковер, украшающий ее комнату, представился Ирене). Рука Игнатия сжимала еще дымящийся пистолет. Ирена подходит к нему, вынимает пистолет из еще теплых пальцев – и короткое, страшное рыдание сотрясает ее тело. Она прижимается губами к похолодевшим губам Игнатия… Пальцы-то еще теплые, но губы уже почему-то похолодели, вот странно! Нет, не так: губы тоже чуть теплые, в них догорает последний пламень страсти (о Боже! как это прекрасно!). Итак, она прижимается губами к его чуть теплым губам, которые еще недавно так жарко, так пылко целовали ее, приставляет

к виску ледяное (непременно ледяное!), пахнущее порохом дуло – и спускает курок, вы только подумайте, в ту самую минуту, как отец с матушкой распахивают дверь, восклицая: «Мы согласны на ваш брак, дорогие дети! Благословляем вас!»

Глупые мечтания, достойные какой-нибудь первоклашки в кофейном платье![2]

Да никогда в жизни родители не дадут своего согласия на их брак, даже если Игнатий и Ирена застрелятся вместе! Можно вообразить, какими глазами они будут смотреть на этот черный фрак, означающий, что Игнатий не обременен никакой государственной службой. Форменную одежду гражданских и военных чиновников шили из цветных тканей, в строгом соответствии с рангом. Скажем, в ярко-голубом ходили жандармы…

Бр-р! Ирена так и передернулась, вспомнив ослепительный мундир жандармского полковника Нифантьева, первым посватавшегося к ней. Кстати, этот оттенок голубого даже в модных журналах назывался цвет «жандарм». Но сукно нифантьевского мундира было преотличное. Не то что на фраке Игнатия – слегка порыжевшем. Ну, сын графа Лаврентьева мог бы позволить себе настоящий дорогой «вороний глаз»!

Может быть, сей граф, отец Игнатия, не так уж богат? Она

---

[2] В Смольном ученицы младших классов носили платья кофейного цвета, средних классов – голубого, а старших – светло-зеленого.

слышала о людях, у которых от роскоши предков остался лишь титул. Может быть, Игнатий едва сводит концы с концами, только виду не подает? Ну, фризовой шинели, как на каком-нибудь нищем заседателе, она на нем, во всяком случае, не видела!

И вдруг Ирена с изумлением ощутила, что небрежность туалета Игнатия ее очень мало волнует. Она, которая готова была презирать какого-нибудь соискателя своей руки за то, что он надевал коричневые замшевые перчатки там, где требовались единственно серые лайковые, или даже если позволял себе надевать перчатки на улице, уже выйдя из дому (непростительный моветон, так же как даме завязывать на улице, а не дома, ленты шляпки!), – она почувствовала, что при мысли о возможной бедности Игнатия горячая волна умиления залила ей сердце.

Кому судьбою непременной
Девичье сердце
суждено,
Тот будет мил назло Вселенной —
Сердиться глупо и смешно! —

вспомнила Ирена строчки Пушкина. На мгновение ей даже стало жаль, что граф Лаврентьев все-таки баснословно, просто-таки несусветно богат (по словам Игнатия, в своей Нижегородской губернии он слыл притчей во языцех из-за роскоши своего дома, доходности имения и изысканности

привычек). Как было бы чудесно, когда б Игнатий оказался бедным офицером. Лучше, конечно, разжалованным в солдаты из-за того, что вступился за честь сестры, которую обольстил какой-нибудь негодяй! Если у него есть сестра, конечно…

Нет, тогда отец уж точно скорее выдал бы Ирену за Нифантьева, известного своим тяжелым нравом, вдобавок чуть не вдвое старше ее, а ей никак, ну никак не улыбалась перспектива оказаться на веки вечные в ежовых рукавицах какого-нибудь немолодого, своенравного ревнивца, зависеть от него, от его прихотей всецело, но не чувствовать при этом ни малейшей радости, не узнать счастья любви, не трепетать при встрече с ним, как она всегда трепетала, лишь завидев Игнатия, не изведать тех заветных любовных восторгов, о которых столь красноречиво повествуют многоточия на самых напряженных страницах романов, а также знаменитое «потом»: «Потом она стояла у окна и долго провожала взором удаляющуюся фигуру человека, которому теперь принадлежала вся, без остатка, и телом, и душою. Наконец решилась обернуться и взглянуть на смятую постель…»

Ирена едва не вскрикнула, так сильно заколотилось сердце. Она хотела принадлежать душою и телом! Всецело! Она хотела оборачиваться и взглядывать на смятую постель – что бы там ни происходило, на этой постели! Она хотела, наконец, узнать, что же именно там происходит! Она хотела любви: такой же сумасшедшей, безумной, страстной любви, ко-

торую, согласно семейным преданиям, изведали все женщины их рода!

Ну что ж, если родители никогда и нипочем не дадут согласия на брак с Игнатием, а она сама страстно желает видеть своим мужем только его, его одного, – значит, надо сделать так, чтобы они согласились.

Ирене приходилось украдкой слышать две-три истории о том, как некая девица, забывшись, отдалась (необычайно волнующее, хотя и совершенно непонятное слово!) какому-нибудь молодому человеку, вследствие чего вскоре была сыграна свадьба. Может быть, отдаться Игнатию (что бы ни означало это действие) или хотя бы сказать маме с отцом, что она это сделала?.. И вдруг Ирена почувствовала, что не вынесет ужаса в глазах матери и отцовского презрения, не сможет поступить, как согрешившая горничная. Да-да, теперь она вспомнила, у них была подобная история с молоденькой горничной Агашей, только-только взятой из деревни. Она отдалась (или, может быть, у крепостных это называется иначе, не столь многозначительно и пугающе?) отцовскому камердинеру Емелиппу и вскоре кинулась в ножки барыне, винясь в грехе и сознаваясь, что брюхата (ну уж это слово – уж точно пригодно лишь для дворни или вовсе для крестьян!). Ирена до сих пор помнила, как брезгливо сказал отец про Агашу:

– Окаянная девка! Не утерпела, сучка молоденькая.

Менее всего на свете она желала бы, чтобы отец когда-ни-

будь так отозвался о ней, чтобы в глазах у него появилось такое же ледяное отвращение!

Нет, она просто не перенесет этого! Значит, у них с Игнатием все должно быть по-другому. «Отдаться» ему можно только после венчания – никак иначе. И явиться к отцу с матерью уже потом, спустя некоторое время, в качестве вполне законной супруги молодого графа Лаврентьева – и с чистой совестью.

Однако что же молчит Игнатий? Почему не скажет, наконец…

И она даже отшатнулась было, когда Игнатий внезапно рухнул перед нею на колени (под ухоженной, тщательно подстриженной травкою английского газона, чудилось, земля загудела!) и, сжимая ее руки, сбивчивым, захлебывающимся речитативом выкрикнул:

– Умоляю вас, Ирина Александровна… Вы прекрасны, обворожительны! Все другие барышни угасли перед вами, как звезды перед солнцем… Я люблю вас, люблю!.. Ирена, обожаемая, ненаглядная, будь моей женою! Не отвергай несчастного, для которого ты – весь свет, вся жизнь! Все надежды мои на счастие связаны с тобою, одна ты можешь спасти несчастного, которого…

Голос Игнатия пресекся, он быстро опустил голову.

Ирена, высвободив одну руку, коснулась его подбородка, заставив поднять лицо, и сердце ее пропустило один удар от счастливого открытия: глаза Игнатия были полны слез.

«Господи! – воззвала она в изумлении. – Да он и впрямь любит меня!»

В жизни не видевшая мужских слез (не принимать же, в самом деле, во внимание расплывчатых воспоминаний о детских слезах Стасика, который лет до семи был столь плаксив, что даже младшая сестра дразнила его «рева-корова»!), Ирена была воистину потрясена в эту минуту. Жизнь предоставила ей чарующую возможность сделаться истинной героиней романа, вдобавок – несказанно осчастливив любимого человека на веки вечные.

Эти самые «веки вечные», неожиданно взбредя в голову, почему-то растрогали Ирену едва ли не больше, чем слезы в глазах Игнатия, было в этих словах что-то роковое, бесповоротное. Ирена вдруг ощутила себя тайной христианкой, которая бросается под жадными взорами язычников на арену, где погибают ее собратья по вере. Самопожертвование – вот как это называется! Конечно, она навлечет на себя гнев родителей, однако… Игнатий! Игнатий будет счастлив! Ну а родители поймут ее, когда она скажет, будто Игнатий уже приставил пистолет к виску, готовый немедля застрелиться, ежели она не согласится бежать с ним!

«Вы слышали? Ирена, знаете, такая красавица, дочь графа Александра Белыш-Сокольского, к ней еще сватались самые завидные женихи… Вообразите, сбежала с возлюбленным! Нет, вы не подумайте ничего плохого: он баснословно богат и тоже человек из общества, сын графа Лаврентьева. Не по-

нимаю, почему ее родители так противились этому браку: из этих молодых людей получилась великолепная пара!»

Ирена возбужденно сверкнула глазами, вообразив подобные разговоры, и вдруг ее словно ледяной водой окатили: ни слова о бегстве не было пока что сказано Игнатием! С чего вообще Ирена взяла, будто его мысли к этому обращены? Может быть, он сейчас же поднимется – и прямиком отправится к ее отцу? Хотя нет, не получится. Ни отца, ни матушки нет в городе: они гостят в Петергофе и воротятся лишь к исходу недели, через три, а то и четыре дня. Ах, какая чудная, какая благоприятная пора для тайных свиданий, а затем и для тайного венчания!.. Ну просто грех не распорядиться случаем. Ирена в жизни не простит Игнатию, если тот сию же минуту не утрет слезы и не скажет…

И снова ей пришлось испуганно отпрянуть, потому что Игнатий вскочил с колен столь же внезапно, как давеча рухнул на них, – и надвинулся на Ирену, так сверкая глазами, что ей почудилось, будто из них сыплются настоящие искры – как от бенгальских огней.

– Жизнь моя и смерть в руках ваших! Согласны ли вы бежать со мною, чтобы венчаться тайно, а затем, заручившись благословением моего отца, пасть в ноги вашим родителям, умоляя их о прощении? Говорите сразу: да или нет, не то…

Он умолк, и рука его скользнула за борт сюртука.

У Ирены сладко замерло сердце: сейчас Игнатий выхватит наконец пистолет!.. Нет, пистолет за отворотом на гру-

ди не поместится. Может быть, хотя бы кинжал?.. И чтобы не дать себе окончательно разочароваться при мысли, что и кинжал вряд ли спрятан в жилетном кармане Игнатия, Ирена выпалила:

– Да! Да, я готова!

И зажмурилась, чтобы лучше освоиться с мыслью: слово сказано, жребий брошен, жизнь круто поворачивает по новому руслу, изменяя прежнее течение – на веки вечные!

Глава II
БРАЧНАЯ НОЧЬ ГРАФА И ГРАФИНИ ЛАВРЕНТЬЕВЫХ

Входя в церковь, Ирена боялась, что священник откажется венчать… из-за ее платья.

Каждая девушка в мечтах своих видит этот день и себя воображает в кисейном белоснежном платье со множеством кружев, оборок и воланов, с пышными рукавами и скромным декольте, отделанным преширокой кружевной бертой. На голове следует быть роскошной фате, подколотой к миртовому или померанцевому венку одним из двух способов: à la vierge, по-девичьи, – так, чтобы фата спускалась вдоль спины до полу, – или à la juive, по-иудейски, прикрывая лицо. Правила на сей счет существовали весьма строгие – венчальное платье невесты обязательно должно иметь рукава: находиться в церкви с обнаженными руками и в декольте было нельзя. Ежели свадебный обряд совершался утром, вообще следовало быть в «высоком» платье: закрытом и с длинными рукавами. Не дозволялось употреблять духи. Нарушение этих правил не только осуждалось – мог вовсе не состояться обряд!

Вот Ирена и струсила: а ну как батюшка обрушится на нее – нельзя, мол, венчаться в буфмуслиновом платьице того

прелестного, нежного зеленого оттенка, который называется цветом осинового листа (глаза Ирены от этого приняли тот же редкостный отлив). Нельзя венчаться в шляпке «памела» с высокой тульей и множеством цветов и колосьев, пусть даже фасон этот уже полвека не выходит из моды! В руках надобно держать померанцево-миртовый букет, а не этот ридикюльчик… Ридикюльчик, конечно, был просто чудо что такое, кашемировый, четвероугольный, по сшивкам золотая тесемочка, а углы вышиты розанами: цветной шелк и золотая нить, ну просто очаровательно! И все-таки…

Но ничего подобного! Похоже, наряд невесты менее всего интересовал священника. Потому ли, что в этой заброшенной церквушке на Озерках редко бывали настоящие пышные свадьбы, потому ли, что Игнатий щедро заплатил за тайные услуги, но обряд свершился без ненужных вопросов и с ошеломляющей быстротой.

И вот все позади: произнесены вечные клятвы, закованы неразрывные цепи, налагающие на людей бесконечные обязательства. И часу не минуло, как молодые супруги уселись в карету… У Ирены мелькнула, конечно, безнадежная мысль, что невесте должен подаваться «парад» – большая свадебная карета, запряженная четырьмя конями, с кучером в цилиндре и золотых галунах, с двумя ливрейными лакеями на запятках. Нет, у них был наемный извозчик – к счастью, не какой-нибудь дешевый ванька в армяке и простой шапке, а настоящий лихач в ярком, особенном – кучерском кафтане

из цветного сукна; шапка его была украшена фазаньим перышком, – кучер был просто загляденье, а все-таки, все-таки, все-таки…

Ирену мимолетно удивило, что Игнатий не держит в городе своего экипажа, не имеет квартиры, куда следовало бы поехать после венчания: все-таки звание графского сына кое к чему обязывало! Можно не сомневаться: отношения Игнатия с отцом, конечно же, не самые лучшие, если граф держит сына в таком черном теле. И у нее поджилки затряслись при мысли, какой гнев обрушится на головы молодых, когда они вот так, не званы не жданы, появятся в Лаврентьеве и бухнутся в ноги хозяину: благословите, батюшка! Не лучше ли, струсила Ирена, для начала сознаться во всем ее родителям, переждать и перетерпеть их грозу, а потом, когда гнев утихнет – пусть не скоро, но утихнет же он когда-нибудь – дело ведь сделано, чего попусту громы-молнии расточать?! – отправить графа Зигмунта улаживать судьбу дочери… Но тотчас гордость взыграла, Ирена самолюбиво вскинула голову. Еще чего недоставало! Нет, она не иначе воротится домой, как в образе всем довольной замужней дамы – молодой графини Лаврентьевой! – и никто никогда не заподозрит, что она сейчас дорого заплатила бы за ту самую вуаль à la juive – прикрывающую лицо, да как можно плотнее. Чтобы без помех всплакнуть…

А с чего плакать-то?! Все ведь по ее сделалось. Как хотела Ирена – так и вышло. В конце концов, это судьба… Да, вот

в чем оправдание, вот в чем утешение: все женщины в их роду по линии материнской венчались совершенно невероятным образом. Начиная с баснословной Елизаветы: венчание у нее тоже было тайное, и ее супруг, Алексей Измайлов, был убежден, что женится на другой девушке – ее двоюродной сестре, тоже Елизавете… правда, потом оказалось, что эта вторая Елизавета – вообще сестра самого Алексея. История, словом, вышла запутанная, так что через три или четыре года, окончательно все разъяснив и без памяти полюбив друг друга, Алексей и Елизавета сочли за лучшее обвенчаться заново – явно, тем паче что имели уже двоих детей. Прабабка Ирены, Мария, дочка Елизаветина, венчалась, правда, по всем правилам: в Александро-Невской лавре, одетая в самый роскошный туалет, и от венца возвращалась в белой карете, запряженной белыми лошадьми цугом… Однако счастья это ей не принесло: только через десять лет она и супруг ее, барон Димитрий Корф, поняли, что рождены любить, а вовсе не ненавидеть друг друга. А бабушка Ангелина?! От Ирены, конечно, скрывали пикантные подробности, однако она откуда-то знала, что Ангелина венчалась с дедушкой Никитою Аргамаковым (тогда, понятно, никаким не дедушкою, а молодым князем, лихим гусаром!) в Париже, в 1814 году, и к тому времени их дочь Юленька уже родилась! Что же говорить об этой Юленьке…[3] Сейчас они с

[3] Истории этих персонажей читайте в любовно-исторических романах Е. Арсеньевой «Роковая дама треф», «Карта судьбы».

мужем – образец супружеской любви, однако старая-престарая, еще маменькина, нянька Богуслава (она-то, к слову сказать, и назвала Ирину некогда на польский манер Иренкою, после чего имя это пристало к ней крепче крестильного) однажды проболталась, что пани Юлька была смерть бедовая дивчинка и замуж хотела выйти поначалу совсем за другого человека, причем, что самое замечательное, тоже бежала с ним, желая тайно обвенчаться! На ее счастье, это не удалось, однако ведь бежала! Ведь хотела! Так что, если порассудить, никто из женщин их рода Ирену упрекнуть не сможет: ни на этом свете, ни на том. Да и все равно уж, упрекай не упрекай, она теперь Лаврентьева… Помнится, раньше они с братом спорили, кому какая фамилия больше нравится, Станислав предпочитал именоваться Белышом, Ирена – Сокольской…

Она зябко вздрогнула, вспомнив, что отныне и навсегда – Лаврентьева.

– Вы дрожите, Ирена? – раздался голос рядом.

В ту же минуту на нее точно шквал обрушился: Игнатий стиснул ее в объятиях и прижался к губам своим возбужденно дышащим, влажным ртом.

– Душенька, люблю, люблю тебя… ты видишь? Останови! – возбужденно вскричал он вдруг, и не успела Ирена опомниться, как Игнатий выволок ее из кареты и, не спуская с рук, закружил по обочине дороги, крича: – Я счастлив! Боже мой! Я счастлив!

Она, перепуганная, ошеломленная, беспомощно цепля-

лась за него, не в силах совладать с головокружением. Была за ней такая слабость: даже на чинных каруселях, едва вертящихся, дурно делалось, а тут этакая круговерть!

– Что же ты молчишь? – упоенно воскликнул Игнатий. – Скажи, что любишь, что ты моя, что счастлива так же, как я!

Ирена едва нашла в себе силы разомкнуть судорожно стиснутые губы и что-то пробормотать: да, мол, да…

Игнатий резко остановился, снова влепил Ирене звучный поцелуй, затем разжал руки и довольно бесцеремонно опустил ее на землю.

– Люблю! Слышишь? – закричал он – и побежал куда-то.

Пошатываясь, с трудом соображая, Ирена смотрела ему вслед. Игнатий мчался по дороге, выделывая какие-то немыслимые антраша и выкрикивая музыкальные фразы. Ирена, как что-то бесконечно далекое, чужое, вспомнила легкую, прелестную, грациозную мелодию «Ламмермурской невесты». Когда-то на премьере этой оперы они впервые увиделись с Игнатием… Потом Ирене долгое время казалось, что она полюбила его именно во время арии Лючии – такой непринужденной, такой страстной! Почему сейчас кажется, будто это было невыносимо давно… может быть, и вовсе даже во сне?

В глазах наконец прояснилось, тошнота прошла, и Ирена огляделась.

Повозка их стояла посередь дороги, лихач в своей вызывающей шляпе с перышком невозмутимо поглядывал то на

застывшую, как знак вопроса, Ирену, то на Игнатия, который… о Господи, который добежал до узенького, даже издали кажущегося ненадежным мостика, перекинутого через какую-то речушку с обрывистыми берегами, и вскочил на его горбатые перила с ловкостью и легкостью, сделавшими бы честь любому циркачу.

– Обожаю тебя, Ирена! – закричал он, закидывая голову к солнцу. – Ты видишь? Ничего для тебя не жаль!

Резко взмахивая одной рукой для удержания равновесия, он вдруг сунул другую в карман и, выхватив изрядную пачку денег, швырнул ее в воздух.

Разноцветные бумажки взлетели радужным веером – и медленно, кружась в воздухе, начали осыпаться в воду.

Лихач с нечленораздельным воплем сорвался с козел и ринулся под берег, а Игнатий, к великому облегчению Ирены, наконец-то соскочил с перил, не нанеся себе ни малейшего урона, и, пошатываясь, побрел к недвижимо застывшей девушке.

Ирена уставилась на него, не столько растроганная, сколько разгневанная его безумным порывом. А ну как Игнатий сорвался бы с мостка да, не дай Бог, убился бы? В каком положении оказалась бы тогда Ирена? Мало того, что она уже тайная жена молодого графа Лаврентьева… сделаться вдобавок его тайною вдовою?! А ежели полицейское дознание установило бы свершившееся венчание, узнало бы об Ирене, факт сей получил бы огласку?! Как бы это выглядело со

стороны: жених убился, не успев вступить в свои законные права. Да ведь это курам на смех! Непременно сыскались бы злые языки, объявившие, что Игнатий Лаврентьев спохватился – да было уж поздно, вот он и предпочел смерть такому супружеству.

Слезы заволокли Ирене глаза, и лицо Игнатия виделось смутно, расплывчато, будто в тумане. Если бы с ним что-то случилось… знать, что она никогда больше не увидит этих безупречно прекрасных черт, этих огненных очей, не ощутит его взволнованного дыхания, его объятий… нет, она не пережила бы этого, просто не пережила бы!

– Прости, – раздался совсем рядом смущенный, задыхающийся шепот, и чудесные глаза Игнатия близко-близко глянули в ее глаза. – Не плачь, ох, я сущий болван! Я совсем лишился рассудка от счастья! Сознание, что ты моя, что принадлежишь мне навеки, сделало меня безумным. Знай, Ирена, что я буду любить тебя всю жизнь, до самой смерти, и еще не одно безумство будет совершено в твою честь.

У Ирены вновь закружилась голова: на сей раз от счастья. Она ощутила себя совершенно слабой в его объятиях, перед натиском его нежности, а когда губы Игнатия скользнули по ее шее, у Ирены зашлось сердце от мысли: больше ничего она не может ему запретить! Она всецело в его власти, и пожелай он сейчас, сию же минуту овладеть ею – прямо здесь, на обочине дороги, – она не посмеет ему отказать.

В этой неожиданной и непристойной мысли было вместе

с тем что-то чарующее. Ирена часто задышала – и увидела, что Игнатий опустил глаза и пристально смотрит, как взволнованно вздымается ее грудь в вырезе платья. Осторожно коснулся пальцем нежных, белых холмиков, погрузил его во впадинку меж ними…

Ирена тихо охнула – новое, невыразимое ощущение пронзило ее до самого сердца.

Игнатий вскинул голову, задумчиво поглядел в сторону речки, откуда доносился такой плеск, словно по воде било крыльями целое стадо гусей: это лихач занимался ловлей денег.

– Ну, он там еще полчаса провозится, а то и больше, – пробормотал Игнатий, опять переводя взор на Ирену, – и ее поразило новое, жадное выражение его лица, даже в дрожь бросило.

– А ну-ка идем, – коротко выдохнул Игнатий, подхватывая Ирену на руки и вталкивая ее обратно в карету. Почему-то мелькнула мысль, что, надень она нынче платье с кринолином, Игнатию не удалось бы таскать ее, будто тряпичную куклу, туда-сюда. А ворох шумящих, шелестящих нижних юбок нисколько не мешает ему бросить Ирену на широкое сиденье кареты, да так бесцеремонно, что она завалилась на спину.

К ее несказанному изумлению, Игнатий не сделал даже попытки поднять ее, а надвинулся сверху, прижимая коленом испуганно забившиеся ноги, навалился, неузнаваемо,

незряче вглядываясь в ее глаза, бормоча:

– Не могу больше ждать… умоляю тебя… ты моя…

Он резко встряхнул Ирену – так, что груди ее выскочили из корсета, и припал к ним губами, алчно впиваясь то в один сосок, то в другой.

Какое-то мгновение Ирена тупо глядела в обитый потрескавшейся рыжей кожею верх экипажа над своей головой, потом в ужасе вскрикнула, но Игнатий закрыл ей рот поцелуем: впился ненасытно, больно в губы, лишь на краткий миг оторвавшись, чтобы выдохнуть:

– Я быстренько. Потерпи чуть-чуть, – и снова присосался к ее губам.

Он оказался очень тяжел – до того тяжел, что Ирена и шелохнуться не могла, да и не помышляла об этом: губы Игнатия не давали ей вздохнуть, она часто, резко вбирала воздух носом, чувствуя, что еще мгновение – и потеряет сознание от удушья и страха.

Да, ей было страшно. Он что-то делал с ней! Пуговицы его сюртука больно елозили по соскам, царапая нежнейшую кожу, а руки тем временем мяли, комкали ее платье, и Ирена едва не закричала, когда вдруг ощутила руку Игнатия на своем бедре… более того – именно там, где панталоны имели потайной разрез в шагу.

Она бы и закричала – да не смогла: непонятный ужас стянул гортань судорогой. Что кричать – она и дышать едва могла, а страшнее всего было осознание того, что для Игнатия

вся она, со всей ее любовью и красотой, со всеми своими чувствами и мыслями, и знанием французских и даже русских романов, поэзии, искусства, всяких других возвышенных предметов, о которых редко толкуют в салонах (не зря брат с шутливым ужасом порою восклицал: «Несчастная, тебя прозовут синим чулком!»), – вся она значит сейчас для Игнатия не более, чем ее нежное, прелестное платье цвета осинового листа: досадная помеха, шелуха, которую нужно отбросить или хотя бы смять, чтобы добраться до единственного, имеющего для него значение, бывшего желанным: до стыдного местечка между ног.

Пальцы Игнатия мяли, сжимали выпуклый комочек плоти и норовили залезть глубже, все глубже. При этом Игнатий свободной рукою что-то делал со своей одеждой. Сквозь боль и страх до Ирены дошло, что он пытается раздеться, расстегнуть брюки, и новый приступ ужаса и стыда совершенно лишил ее сил. Стыднее всего было, что нетерпеливые пальцы причиняли не только боль, что тот самый крошечный бугорок раз или два отзывался томительным трепетом, но это были лишь редкие мгновения, а все остальное время – боль, и стыд, и страх. И ожидание: что же будет дальше?..

Дальше было вот что: Игнатий вдруг резко, громко задышал, шепча что-то в самые губы Ирены, несколько судорог прошло по его телу – и он замер, с трудом переводя дух, но наконец-то оторвавшись от ее рта и дав возможность глотнуть воздуху.

Не веря, что все кончилось, Ирена с трудом разомкнула один глаз (ресницы смялись, слиплись от слез – оказывается, она плакала, не замечая этого!) и увидела над собой набрякшее, побагровевшее лицо Игнатия, который, чуть прижмурясь, слегка улыбнулся, словно прислушиваясь к какому-то невыразимо приятному ощущению в себе.

Она торопливо опустила ресницы, еще больше испугавшись того, что успела разглядеть. Это был не Игнатий, нет, его прекрасные черты не могли сделаться такими… такими… Ирена не находила слов. Мелькнуло в памяти – «фавн», «сатир». Пожалуй, да, похоть – вот еще одно запретное, неведомое прежде понятие, вот что исказило, изуродовало любимое лицо! Но при чем же здесь любовь?..

– Вы, барин, коли такое дело, уж лучше бы мне денежки дали, сказали: «Прогуляйся, мол, любезный, до лесочку!» А то я все штаны измочил, покедова бумажки выловил из реки… зато все до единой выловил-таки! Ништо, что мокрые, – высушим, еще лучше новеньких в дело употребим!

Голос лихача грянул, будто гром с ясного неба, и Ирена подумала, что теперь-то она непременно умрет от стыда.

– Пошел вон, дурак! – проворчал Игнатий, поднимаясь на ноги и рывком принуждая Ирену сесть. Она привалилась спиной к стенке кареты, увидела блудливые глаза возчика в окошке, сконфуженную улыбку Игнатия, потом перевела взгляд на свои ноги, обтянутые чулками, выставленные на всеобщее обозрение, и, уронив дрожащую руку, которой пы-

талась поправить лиф, затряслась всем телом в приступе глухих рыданий.

– Я сказал, пошел вон! – грозно рыкнул Игнатий – и плутовская физиономия исчезла в окошке.

Проворно обрушив ворох скомканных юбок до полу и благопристойно прикрыв ноги Ирены, Игнатий несильно встряхнул ее за плечи, и голые груди каким-то образом сами вскочили в корсаж. Он аккуратно, ловко расправил кружево по краю декольте, потом сдвинул на затылок Иренину шляпку, которая нелепо съехала на лоб. Тронул пальцами повлажневшие завитки на висках.

Ирена сидела, как на приеме у страшного дантиста, трясясь всем телом, быстро, коротко всхлипывая.

– Ну, дорогая… Ирена, ангел мой… – Размягченный голос Игнатия пробился сквозь шум и сумятицу, царившие в ее голове. – Взгляните на меня, умоляю!

Она быстро – раз-два – качнула туда-сюда головой.

Игнатий усмехнулся:

– Прошу вас… я вам все объясню.

Ирена с трудом открыла погасшие, полные слез глаза и мимолетно поразилась тому победительному выражению превосходства, с которым смотрел на нее Игнатий.

– Теперь вы моя, – шепнул он, привлекая ее к себе и близко заглядывая в лицо. – Моя, понимаете? Наш союз освящен церковью, и вы отныне принадлежите мне душою и телом. Телом, – повторил он раздельно, чуть повысив голос, и власт-

но удержал Ирену, которая, задрожав от этого слова и от этого тона, попыталась отпрянуть. – Ах, моя бедная, невинная девочка… я напугал вас своим пылом? – Почудилось или в самом деле в голосе его легко зазвенела насмешка? – Но что поделать, если вы так обольстительны и прекрасны! Я без ума, истинно без ума от вас… вот и потерял голову!

Он нашел вялую руку Ирены, поднес к губам, поцеловал – сперва осторожно, потом все более нежно, – и от этого привычного ощущения, воскресившего былые светлые дни зарождения их любви, Ирена немного пришла в себя, смогла взглянуть на Игнатия не столь безжизненно, как прежде.

– Ну вот… – проворковал он. – Вы простили меня, правда? Я постараюсь в дальнейшем… лучше владеть собой. Но вы должны быть готовы к тому, что я, как ваш супруг, захочу часто, очень часто видеть вас в своих объятиях!

Кажется, в жизни Ирене не приходилось совершать над собой такого усилия, как сейчас, подавляя дрожь ужаса.

Как?.. Значит, этот кошмар будет повторяться? Но где же безумные ласки, где упоение, где блаженство, где слияние тел и душ, доступное лишь двоим, соединенным тайной великой страсти? Получается, все, что читала и слышала Ирена о страсти, – ложь? Наслаждение получает лишь мужчина, а на долю женщины достается всего несколько мгновений удушливого страха и боли, пока грубые пальцы хозяйничают в ее теле?..

Нет, здесь что-то все-таки не так! При чем тут пальцы?!

У мужчин на теле есть нечто… Ирена не знала, что именно, однако была наслышана от девчонок, что есть, и оно-то, неведомое, делает девушку женщиной.

О… О Господи! А что, если Ирена и не заметила, как оно побывало в ее теле? Что, если только что, несколько мгновений назад, она все-таки стала женщиной, но даже не поняла этого? «Сокольская стала женщиной!» – вызвала Ирена в памяти заветные, волшебные слова, однако ни они, ни мысль о том, что женщиной стала не Сокольская, а графиня Лаврентьева, не вызвали в ее душе ни малейшего волнения – напротив, еще пущее уныние нахлынуло.

Только-то? И всего-то?!

Да, это – лишь для мужчин. Все-таки они что-то чувствуют, кроме боли, – вон какое странное лицо было у Игнатия! Чуть сморщив носик от неприятного воспоминания, Ирена покосилась на мужа (о Боже мой!). Тот пристально разглядывал свои брюки, тер рукой какие-то влажные пятна. Ноздри Ирены расширились: какой странный запах!

В эту минуту Игнатий перехватил ее взгляд и смущенно выпрямился, отдернув руку.

– Клянусь вам, что в следующий раз все будет иначе! – улыбнулся он так, что в сердце Ирены слабо отозвалось эхо прежнего восторга, который она испытывала от света этой улыбки, сияния этих необыкновенных глаз. – Однако мне предстоит тяжелейшее испытание: быть неделю пути рядом с вами – и не иметь возможности к вам прикоснуть-

ся! Ведь для пассажиров омнибусов отводят помещения отдельные для женщин – и отдельные для мужчин, супружеские спальни, тем паче – покои для молодоженов там, увы, не предусмотрены. Впрочем, это даже хорошо, что наша первая брачная ночь пройдет в роскошных покоях Лаврентьевского дворца, а не в каких-нибудь убогоньких нумерах, где кровати скрипят, возвещая всех постояльцев о том, кто чем занимается, а клопы норовят укусить в самый неподходящий момент!

Он осекся, увидав, какими круглыми глазами уставилась на него Ирена.

– Что с вами? – спросил почти сердито, негодуя, впрочем, не на нее, а на себя за этот приступ дурацкой болтливости.

– Я… не понимаю, – прошелестела она, потом запнулась, чтобы не спросить унизительное: «Откуда вам известно, как скрипят эти кровати?!» – и пробормотала растерянно: – Омнибус? Но ведь…

– Да, Ирена, я позабыл предупредить вас, – кивнул Игнатий, отводя глаза. – Мы уезжаем через полтора часа, и у нас времени только-только, чтобы доехать до станции, а там – через Москву и в Нижний. Благодарение Богу, что проложили наконец пристойное шоссе и наладили сообщение. Дважды в неделю от столиц до Нижнего следуют омнибусы. Теперь, говорят, столичная почта в Нижний без задержек поступает. Я уже послал сообщение – предупредить отца о нашем прибытии. Он должен приготовить такую встречу… нас

должен встречать эскорт!

Игнатий захлебнулся торжествующим, клокочущим смешком.

– Но мы не успеем – через полтора часа, – все тем же недоумевающим голосом возразила Ирена, которая и впрямь не могла поверить в слова Игнатия. – Надо же заехать за моими вещами… да они и не собраны…

– Господь с вами, Ирена! – Игнатий взглянул на нее с досадою. – Как вы себе это представляете?! Во-первых, времени нет, а потом, ну каким же образом вы намерены вынести коробки с платьями и шляпами из дому? Да вас же схватят… кто там за вами присматривает в отсутствие родителей? Бонна? Гувернантка?

– Что я, ребенок?! – обиделась Ирена. – С боннами, мисс и мадемуазелями я давно простилась. Дома тетушка, старшая сестра отца…

– Ну вот и прекрасно, – нетерпеливо перебил Игнатий. – Можно представить, каким мопсом вцепится в вас эта тетушка! Она вас из дому не выпустит без объяснений. Нет, Ирена, обратного пути нет. Ежели угодно, вы с дороги напишете родителям, а еще лучше – из самого Лаврентьева, когда мы получим благословение отца. Но сейчас надобно спешить. На омнибус нельзя опаздывать!

– Погодите! – Ирена лихорадочно уцепилась за руку мужа. – У меня ведь при себе ничего, кроме этого платья! У меня вообще нет ничего с собою, ни пеньюара, ни…

Она страшно покраснела. О Господи! Заговорить с мужчиною о таких вещах! О белье! Как у нее вообще сорвалось с языка такое интимное слово, как пеньюар?! И ведь еще миг – и она сболтнула бы о чулках, сорочке и даже, Господи помилуй, о панталонах!

Даже с мужем приличная женщина не ведет бесед о неглиже!

– Пусть это вас не волнует, моя прелесть, – небрежно отозвался Игнатий, взмахивая рукой в окошко, чтобы привлечь внимание возчика. – На омнибусной станции нас ждет мой багаж, а в нем – не менее десяти коробок с самыми чудненькими платьицами, которые я купил для вас, и шляпки… о, charmant! – Он поцеловал кончики пальцев. – Ну и тальмочка для тепла, и отличные шали, и ботинки…

– Погодите! – ошеломленно перебила Ирена. – То есть как это – вы купили?

– О Господи! – раздраженно возопил Игнатий. – Попросил одну мою приятельницу… я хочу сказать, жену одного моего приятеля, – торопливо поправился он, – у нее примерно такая фигура и ножка, как ваши, – отправиться по модным лавкам и составить гардероб, от шляпки до… до самой последней вещицы, какая только может понадобиться женщине. Вы понимаете? – Он значительно улыбнулся Ирене. – Разумеется, это все только на самое первое время, на время пути, однако можно ручаться, что все первейшего качества, если учесть, какие за это были убиты в лавках деньги…

– Нет, я не понимаю, – пробормотала потрясенная Ирена. – Вы говорите, *в лавках*? *В магазинах*? Это что, значит – купили la confection?! Готовое платье?! Mais c'est impossible! C'est un mauvais ton![4]

– Уверяю, ma chère, на вас будут шить лучшие портные Парижа! Но пока придется потерпеть… Да ну же, Ирена, вы неблагодарны! – воскликнул Игнатий с досадой, увидав, что ее глаза вновь заплывают слезами. – Я забочусь о вас, нарочно занял уйму денег, чтобы обеспечить ваши удобства, а вы – плакать. Право, на вас не угодишь! Пока не до капризов, знаете ли. Вот уладим все дела с моим отцом, потом с вашими родителями, – тогда и капризничайте, сколько душе угодно. А пока утрите слезы! Да где же запропастился этот чертов дурак?!

Игнатий гневно выскочил на подножку кареты и чуть ли не нос к носу столкнулся с кучером, который как раз в это мгновение поднялся с колен: он раскладывал на траве для просушки свою добычу – мокрые ассигнации.

– А ну собери! – грозно велел Игнатий. – Ты что, ополоумел? А если ветром унесет? Мне, знаешь ли, деньги еще пригодятся: путь до Нижнего ого-го каков, а у меня в кармане пусто. Билеты ведь, знаете ли, взяты самые дорогие, кои по два в ряд, по восемьдесят пять рублей! Не трястись же в кабриолете[5] за шестьдесят пять с персоны!

---

[4] Но это невозможно! Это дурной тон! *(франц.)*

[5] То есть рядом с кучером.

Мгновение возчик стоял молча, очевидно, не в силах переварить услышанное, затем в отчаянии всплеснул руками.

– Так как же, барин?! – заблажил он плачущим голосом. – Вы же сами… в реку… я думал… мои оне!

– Оне! – передразнил Игнатий. – С ума сошел, кто такими деньгами бросается?

– Вы и бросались, – совершенно справедливо заметил возчик. – Давеча бросались, с моста.

– Собирай, собирай, нечего тут! – криво усмехнулся Игнатий. – Это просто жест такой был, ну, шутка, ты понимаешь?

– Шутить изволили? – угрюмо переспросил кучер. – Добрые шуточки! А ну как не отдам я денежки? – Он пал на колени и с поразительным проворством собрал купюры в кучу – так опытный игрок мгновенно собирает с ломберного сукна рассыпанную колоду. – Мои оне – вот и весь сказ! Вы их выбросили, выбросили без надобности!

Он сделал движение сунуть деньги за пазуху, однако Игнатий оказался проворнее и перехватил его руку.

– А ну! – только и сказал он холодно, и пальцы возчика разжались. – Я тебе… это грабеж!

– Грабеж?! – со слезами, но и с хитростью в голос воскликнул кучер. – А вы барышню… увозом… Я что, думаете, не слышал?

Рука Игнатия, уже прятавшая пачку во внутренний карман сюртука, замерла на полпути. Испытующе взглянув на

возчика, он медленно, нехотя отделил несколько бумажек и протянул ему:

– Ладно, держи… шантажист! Но гляди, чуть слово скажешь – не сносить тебе головы! А теперь – гони! Если опоздаем к омнибусу, я не только эти деньги у тебя вытрясу, но и все твои куриные мозги!

– Не, не опоздаем! – заорал повеселевший лихач. – Мы свое дело знаем! Отменно!

Игнатий вскочил в карету, захлопнул за собою дверцу и возбужденно взглянул на Ирену.

– Вот теперь мне кажется, будто я похищаю вас! – сказал он негромко, взволнованно.

Глаза его сверкали, брови играли, великолепный рот улыбался, черная густая прядь упала на бледный лоб… Сердце Ирены дрогнуло.

Он был так красив! И не только она принадлежала ему – он ей принадлежал тоже! А значит…

Ирена толком не понимала, что же это значит, – просто надеялась, что лихач во всю прыть лошадиную мчит их не только к омнибусу, но и к счастью, к коему надобно примчать вовремя, дабы не упустить! Она всей душою надеялась на то, что не упустит!

Глава III
ТОТ САМЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ЭСКОРТ

Нижний встретил их прекрасным, колдовским закатом, полыхающим над Стрелкою, и полнейшей пустотою на станции омнибусов. Никто не встретил графа и графиню Лаврентьевых, так что, пометавшись понапрасну на съезжей, Игнатий принужден был взять извозчика и приказал везти себя с молодой супругой в гостиницу. Собственно говоря, это оказались довольно жалкие номера неподалеку от станции, но Ирена так намучилась в пути, что не спорила, а велела немедля подать себе горячей воды, да побольше, послала прислугу в лавку за самым лучшим мылом, а потом с наслаждением начала мыться.

Ей отродясь не приходилось самой мыть себе волосы, но, с другой стороны, трястись в скверной колымаге вкупе с десятком попутчиков не приходилось тоже (да и из дому сбегать, если на то пошло!), – потому она не стала чиниться и вскоре поняла, что мытье головы – не самое хитрое дело, приуготовленное для нее в жизни. Прислуга призвала прачку, которой частенько приходилось стирать для постояльцев, и та здесь же, под Ирениным присмотром, замыла кое-что из бельишка. Сушить мокрые вещи она утащила в корзине к

себе: не развешивать же, в самом деле, панталоны и сорочки на убогой обстановке нумера! Принести все прачка посулила завтра поутру, чистое и наглаженное.

После ее ухода Ирена подсела с гребнем к зеркалу и, медленно расчесывая мокрые перепутанные волосы, принялась вглядываться в свое лицо. Оказывается, она порядком от себя отвыкла! Чтобы больше десяти дней не глядеться в зеркало – это уж совсем в голове не укладывается. Даже в Смольном их муштровали в приличной скромности: у кого найдут в вещах хоть малое, карманное зеркальце – не миновать сурового выговора классной дамы, а то и к начальнице отделения, maman, поведут: «Как вы можете, m-lle Сокольская?! В ваши годы… вы должны знать, что лучшая красота девицы – это чистота, чистота нравственная!» Однако Ирена все-таки училась на Николаевской половине, в Обществе благородных девиц, куда принимались только потомственные дворянки, поэтому в зале для уроков танцевания у них было зеркало – огромное, от потолка до полу, – и всегда можно было улучить момент и поглядеться, хотя бы мельком. Ходили страшные слухи, будто на Александровской половине не было зеркала даже в танцевальной зале, однако там учились всякие дочки штабс-капитанов, протоиереев и третьестепенных дворян, принятые на казенный счет, а с ними Ирена не зналась, потому проверить ужасные слухи не могла, только недоумевала: как это так можно жить, неделями не смотрясь в зеркало?! Ну вот, теперь она узнала – как.

Она глядела на себя, как на забытую подружку. Слава богу, по-прежнему хорошенькая, может быть, даже красивая, хотя в классе считалась лишь девятой по красоте. Нос не то чтобы курносый, но все-таки вздернутый, зеленые глаза широко расставлены, лоб очень высокий (Ирене всегда твердили, что для девицы иметь такой высокий лоб неприлично, поэтому она выпускала на него несколько кудряшек, благо волосы у нее вились от природы), рот тоже великоват, никак не сложишь его бантиком… Ничего, зато лицо сияет, словно изнутри светится нежным бело-розовым светом, кожа нежнейшая, как персик, ресницы… хорошие ресницы, особенно если смочить их прованским маслом и чуть загнуть, брови отличные, разлетаются к вискам, придавая лицу надменное выражение, особенно если Ирена задумается или обидится. Но все это было и раньше, а ведь должно появиться нечто новое! Ведь она изменилась за это время, очень изменилась. Вот голову себе сама вымыла… и вообще, прежняя Ирена, надзирающая за прачкою, которая моет ее белье, Ирена, вспомнившая о таком низменном существе, как прачка, – это что-то невероятное! Конечно, она всегда была чистюля, но что сделала бы прежняя Ирена? Послала бы за белошвейкою, на худой конец – в дорогой магазин за новыми вещами, а прежние, ношеные, выбросила бы, чтоб не возиться! Однако она предпочла позвать дешевую прачку, потому что поняла: если Игнатий снял для них комнаты в этих совсем простых нумерах, вдобавок себе взял общую, где, кро-

ме него, еще четверо ночуют, значит, у него на исходе деньги. Вот еще одна новая черта, которую с недоверием открыла в себе Ирена: она не только допустила в свое сознание такое недостойное благородной особы понятие, как деньги, но и стала задумываться об их количестве!

Она торопливо принялась заплетать еще влажные волосы в две косы. Гордыня – ее лучшая подруга, она поддерживала Ирену все эти безумные, тяжкие дни – она и сейчас нашептывает на ухо: «Никто не должен видеть твоих слез!»

Никто, вот именно! Даже та красавица в зеркале! Вот так, правильно. Вздерни-ка повыше брови, Ирена. Понадменнее, пожалуйста. А теперь поскорее спать. И пусть лучшая подруга твоя тоже уснет, отдохнет. И да приснится вам молодая графиня Лаврентьева, которая завтра вступит в наследственное поместье своего супруга!

Уныло встала она утром: серое небо не сулило ничего хорошего. Уныло встретила унылого Игнатия: экипажа из Лаврентьева нет как нет, очевидно, письмо Игнатия не дошло, затерялось у почтарей; придется возчика подряжать. После ужасного завтрака – ячневая каша вчерашняя, такая крутая, что ложку не повернуть, вдобавок несоленая, пригоревшая и политая прогорклым маслом, – Ирена с отвращением принялась одеваться. Прачка спалила утюгом кружево на любимой сорочке – еще домашней, еще своей! – пришлось надеть купленное «приятельницей» Игнатия. Ну, или «женой приятеле-

ля». Новая сорочка была изобильно обшита кружевом, тончайшего батиста, однако внушала Ирене непонятную брезгливость: чересчур коротка, едва ли до колен, и когда стоишь в ней в одних ажурных чулках (почему-то все новые чулки были только ажурные, словно у непотребных девиц!), еще без панталон, вид совершенно будто у какой-нибудь кокотки!

Для успокоения души Ирена желала бы хоть платье надеть свое, однако за время пути оно испачкалось, оборки оторвались – словом, его следовало либо отдать хорошей портнихе в починку, либо уж прямо бедным людям. Раньше, дома, такие «безнадежные» платья дарили горничным на именины, на Рождество или, например, к свадьбе. Однако сейчас у Ирены не было горничной. Ну что ж, в Лаврентьеве, уж верно, будет!

Наконец с помощью служанки из номеров она уложила волосы, оделась во все новое – и не могла не признать, что выглядит премило в бело-розовой гроденаплевой шляпке с зелеными цветами и лентами, и платьице было тоже гро-: грод'анверовое, с узенькими полосочками – все разненьких зелененьких оттеночков. Ничего не скажешь – прелесть!

Игнатий тоже смотрелся настоящим франтом. Похоже, последние гроши были отданы прачке, потому что рубашка просто-таки скрипела от крахмала, а воротнички едва не резали кожу. Очевидно, по этой причине Игнатий был особенно молчалив, и хотя не мог не заметить, с каким лю-

бопытством Ирена оглядывает просторные пустоватые улицы Нижнего (кремль показался ей очень красив, а от всего остального пугающе веяло провинциальностью), разомкнул рот всего лишь однажды, чтобы сообщить: вот в этом, мол, доме, напротив Покровской церкви, жил некогда приятель молодости его отца – князь Гагарин, большой шалун и проказник. Среди проказ князя и его веселой компании была рассылка видным горожанам приглашений на губернаторский бал, которого тот и не думал устраивать, или ночные катания по городу в каретах в чем мать родила.

Однажды ночью гагаринская компания переменила вывески на фасадах зданий. Утром изумленные горожане увидели над дверью духовной консистории слова: «Распивочно и на вынос», на здании судебной палаты – «Стриженая шерсть оптом и в розницу», на воротах архиерейского дома – «Продажа дамского белья и приданого для новорожденных», на губернаторском подъезде – изображение банки пиявок с надписью: «Здесь отворяют кровь».

Как-то раз Гагарин приручил и выдрессировал пару годовалых медвежат, которых постоянно водил при себе на цепочке. Во время праздничного скопления публики на главной Покровской улице он спускал со своего балкона во втором этаже на канате медвежонка и после достаточного переполоха среди прохожих втаскивал его обратно.

Как-то Гагарин устроил «афинскую ночь», для которой сманил женскую прислугу многих горожан…

– Дальнейшие его подвиги происходили где-то за Уралом, – с явным сожалением сообщил Игнатий, а Ирена покосилась на него не без угрюмости.

Ее немало озадачили нотки восхищения в голосе мужа, живописующего несусветные забавы князя Гагарина. На взгляд Ирены, это была неприличная дурь, простительная для мало́го юнкера, но отнюдь не для немолодого уже человека, вдобавок – отпрыска знатного рода. Можно было только порадоваться, что сподвижников веселого князя в Нижнем «иных уж нет, а те – далече», но вот беда: к одному из этих, кто «далече», сейчас и держит путь Ирена… Остается надеяться, что граф Лаврентьев остепенился и позабыл проказы юных лет. А если это не так, Ирене надлежит с первого шага поставить себя в графском доме так, чтобы все, а раньше всех – хозяин, относились к ней с уважением.

Хорошо говорить! Но как себя поставить, когда сама про себя знаешь, что ты – беглая, непослушная дочь, обвенчавшаяся тайно, и даже не против воли родительской, а вовсе не известив об этом отца с матерью? Ежели Ирена других людей ни во что не ставит, даже самых близких, кто же будет ее почитать? Уж, верно, не старый граф Лаврентьев!

Чем глубже погружалась Ирена в эти мысли, тем плотнее смыкались темные «воды печали» над ее головой. Она молчком сидела в уголке кареты, стиснув руки словно бы нервным, а на самом деле молитвенным жестом, и едва удерживала слезы: даром такая тоска не приходит, это что-нибудь

да значит! Ну а что это может значить? Скорее всего, то, что Лаврентьево не окажется таким уж местом обетованным, как ей желается, а граф всего менее будет похож на доброго, всепрощающего батюшку. Ох, задаст он им с Игнатием хорошую баню… ох, задаст!

В эту минуту Игнатий, доселе нарушавший тишину лишь бессвязным, отрывистым насвистыванием обрывков все той же знаменитой арии Лючии де Ламмермур, насмешливо спросил:

– Что-то вы примолкли, душенька? Уж не страшно ли вам, часом?

Открывать свои мысли было, конечно, никак нельзя, и Ирена не совсем ловко соврала:

– Сон вспоминаю. Сон мне ужасный снился, просто кошмар!

– И мне! – подхватил Игнатий. – И мне тоже! Диво, конечно, что я вообще заснул: блохи и клопы заедали. Но под утро забылся и, вообразите, вижу, будто я – это не я, а некая птица вроде ворона, и летаю я над кладбищем. Кладбище такое странное, такое странное: могилки все дерном убитые, а сверху надгробные камни лежат. Ни крестов, ничего. Спускаюсь пониже и вдруг вижу на каждом камне необычайно четко выбитую надпись, начинаю читать – и, вообразите, оказывается, что здесь похоронены только близкие мне люди! Деды и прадеды по отцовской линии – я их имена только в книге родословия читал, есть у отца в кабинете, им са-

мим составленная, – родители матушкины, что две зимы тому назад померли в одночасье, совсем уж старенькие были, дряхлые…

Голос Игнатия странно дрогнул, и Ирена подумала, что этих своих деда с бабкою он, верно, крепко любил… А еще до нее вдруг дошло, что в разговорах с нею Игнатий никогда ни словом не вспоминал о своей матери, словно ее и вовсе на свете не было. Ирена почему-то решила, что она давно умерла. И теперь она с замиранием сердца подумала: а ну как она жива? Ну как придется завоевывать еще и ее сердце, пытаться расположить к себе? Последние остатки духа улетучились Бог весть куда. С графом она еще как-нибудь справилась бы, ну, очаровала или разжалобила бы его, а вот с этой неведомой свекровью… о Господи!

– И вижу вдруг могилу отца своего, – продолжал Игнатий. – А ведь я доподлинно знаю, что он жив! Не веря своим глазам, опускаюсь на серый камень, и вдруг он отъехал в сторону, земля разверзлась – и я вижу гроб, из которого раздается отцов голос: «Не успеет петух прокричать трижды, как мы свидимся с тобою, сын мой!»

– Господи, воля твоя, Господи, помилуй! – быстро закрестилась Ирена, но тут же устыдилась своей суеверности, отнюдь не приставшей образованной барышне, нет, замужней взрослой даме, и произнесла небрежно: – Ну, чепуха! Страшно, конечно, особенно…

– Особенно про этот крик петуха, – подхватил Игнатий. –

Однако ежели бы этот сон был вещим, я уже умер бы нынче же. А вроде жив, как вы думаете? Но я совсем не прочь, чтобы сон мой отчасти сбылся…

Сначала Ирена не поняла, потом круглыми глазами воззрилась на мужа:

– Да простит вас Бог, Игнатий! Что вы такое говорите?! Вы желаете смерти своему отцу?

Игнатий поглядел лукаво:

– Ну, ну, Ирена, вы ведь не ханжа, зачем же так-то? Положа руку на сердце, разве вы не боитесь встречи с ним? Разве не теряетесь в догадках: как-то сей граф встретит нас? Не прогонит ли взашей? Даст ли свое благословение? Сказать по правде, я никогда в жизни не мог предвидеть ни одного поступка своего отца, никогда не мог заранее предсказать, как он поведет себя, тем паче – в такой ситуации, какую мы с вами намерены ему предложить.

«Как?! – едва не вскрикнула Ирена. – Да ведь ты уверял меня, что на благорасположение отца твоего можно безусловно надеяться?!»

Очевидно, ее лицо сделалось таким неуверенным и несчастным, что Игнатий от души расхохотался, глядя на нее.

– Ох, Ирена, Ирена, ты еще совсем дитя! – выдохнул он между приступами хохота. – Ну, не куксись! Конечно же, я ничуточки не думал, будто отец останется недоволен нашим браком. Напротив! Даже если бы он сам полжизни потратил,

не сыскал бы мне более завидной невесты, чем вы, дорогая!

Игнатий поцеловал ей руку и значительно поглядел в лицо. Он почему-то называл Ирену то на «вы», то на «ты», и это ее ужасно раздражало. Не то чтоб раздражало, но… просто она начинала чувствовать себя еще более неуверенно.

– Сказать правду – если уж сказать совершенную правду, – продолжал Игнатий, – у нас с отцом не самые лучшие отношения. Старик никогда не мог понять, что хоть питаться поневоле приходится действительностью, но задаваться идеалами – тоже значит жить! Он полагал, что я веду мелкую, рассеянную жизнь, ничем не занимаюсь, бегаю по вечеринкам и балам, где блещу эпиграммами и ловкостью обращения. Да, что и говорить, я сделался человек вполне светский. Ведь правда же, Ирена? Как воспитанник юнкерского училища, отлично говорю по-французски, знаком со старою и новейшею французской литературой, а равно и с корифеями отечественной словесности. Этикет всякий так изучил, что от зубов отскакивает! А отец все-таки считал меня как бы человеком нестоящим! И все почему? Потому что я не желал вникать в его жизнь, уподобляться этому барству неразумному. В деревне ведь как? Тщатся во всем подражать городским вельможам, тратят на обучение своих дворовых огромные деньги: поварскому искусству отец посылал обучаться своего кашевара, так двести рублей уплатил! Дворовую девку мыть нарядные платья учили – тоже будь здоров денег вбухали. А толку во всем этом – чуть. С народом нашим

вы ведь знаете как? Глупы, тупы, ленивы все до крайности! Непременно нужно, чтобы управитель-немец со шпицрутеном стоял над душой, тогда только дело пойдет, тогда и в поле вовремя выйдут, и, готовясь к новому спектаклю (у отца отменный театр из крепостных людей, я вам не говорил?), станут репетировать старательно, хоть по неделе будут речитативом говорить. Но это все из-под палки! Кругом невежество, это нежелание учиться, развиваться. Слыхали, что было при последней холере? Народ убивал докторов, веря, что они отравляют колодцы. Однажды толпа остановила карету, в которой везли больных в лазарет, разбила ее, а больных освободила, чтоб дома померли, – ну и других заразили. Дурость, дурость! – выкрикнул Игнатий с таким ожесточением, что Ирена незаметно отодвинулась.

Ей вдруг как-то не по себе сделалось. Игнатий все-таки странный: то обличал господ, которые своих людей утесняют, то народ дураком честит. Не понять, чего он хочет. И почему с таким пылом выкрикивает:

– Да, я играл! И, не скрою, случалось, проигрывал! Ну а какая разница, куда деньги всаживать? В зеленое сукно либо в какие-то сельскохозяйственные новации? Вследствие всех его затей свободных денег у него никогда не было, случались времена, когда отец за неуплатою опекунских залогов на время оставался с пустым карманом, так что принужден был срочно продавать что-нибудь из имений, какой-нибудь лесок, лошадей, коров, крестьян целыми семьями, а то

и брать взаймы у племянника… Мне задерживал выплаты карманных денег! – Голос его дал обиженного петуха.

– У племянника? – переспросила Ирена. – Стало быть, у вас есть кузен? Вы никогда не говорили… А родные братья и сестры у вас есть?

Игнатий вдруг покраснел, да так, что нежная кожа щек сделалась багровой, чудилось, вот-вот кровь брызнет.

– Бог миловал, – буркнул он с явной неохотою. – Кузен же – да, есть, Колька Берсенев, дурак и сволочь порядочная. Богат как скотина, оттого и полагает себя вправе всех учить да поучать. Ох, натерпелся я от него с малолетства. Он ведь когда-то жил у нас в Лаврентьеве, учителя у нас были одни, общие, так он, бывало, задания все выполнит в минуту, способная сволочь, а потом давай меня изводить: мол, деревенщина ты и есть деревенщина, мозгов-то тебе не прикупили…

Игнатий осекся, словно спохватившись, и встревоженно глянул на Ирену, которая как воззрилась на него изумленно, так и не сводила глаз. Она и не предполагала в своем супруге такой глубины ненависти к кому-то, тем паче ненависти, основанной на глупых детских обидах. Это все равно как если бы Ирена ненавидела своего угнетателя-брата за все его детские причуды! Он ведь рос во врожденном убеждении, что всякая женщина – игрушка для мужчины («Весь в отца!» – говорила матушка), а кто был для него самой доступною игрушкою? Конечно, сестра, которая была младше на год и с которой он держался так надменно и грубо, словно

пророк с учеником-придурком. Наверное, этот Колька Берсенев был весьма схож со Стасиком Белыш-Сокольским. Но гораздо сильнее задело Ирену небрежное упоминание Игнатия о сводных сестрах. Стало быть, у них разные матери. Что ж, дело обыкновенное, если Лаврентьев женился, оставшись вдовцом с ребенком, однако уж слишком покраснел Игнатий. Что-то в его ответе крылось цинично-неприличное, и, кажется, Ирена догадывалась, что же именно. У Лаврентьева были крепостные любовницы! Само по себе дело тоже обычное, хоть и осуждаемое порядочными, благородными людьми. Ведь тут все происходит по единоличному желанию господина, девушка – его собственность и противиться не может. И на таких девицах потом никто не женится, ни мужики, ни, разумеется, сам барин. Конечно, поступок отвратительный, принуждать девушку – это, можно сказать, насилие, однако Ирена первая бы возмутилась, прослышав, что кто-то из ее знакомых или незнакомых женился бы на крепостной лишь из-за того, что обесчестил ее. В конце концов, у девушки всегда есть выход – например, утопиться. Все-таки честь – это первое, и если уж не удалось соблюсти невинность до брака, жить, конечно, не стоит.

Ирена целомудренно поджала губки. Надо постараться в Лаврентьеве держаться как можно дальше от этих незаконных детей графа, прижитых от крестьянок! Впрочем, где ей с ними придется общаться? Им место в хлеву, в курной избе или где там еще живут мужики, в крайнем случае – в люд-

ской. Ирена так и передернулась. Нет, никого из этих «сводных» Игнатия она не намерена терпеть в том доме, где будет жить. Однако каково Игнатию было видеть их, знать о них! Он такая тонкая, чувствительная натура, принимает все так близко к сердцу! Вот сидит с совершенно убитым видом: наверняка мучается оттого, что столь необдуманно брякнул об этих незаконных и оскорбил стыдливость Ирены.

Конечно, благовоспитанной девице даже думать немыслимо о таких понятиях, как «насилие», «блуд», «незаконнорожденные дети», «любовница», она и слов-то этих знать не должна! Однако Ирена оставит при себе свои тайные знания, которые, как это ни странно, ее не столько оскорбили, сколько… сколько сняли изрядную тяжесть с ее души. Что же, что она из дому сбежала, обвенчавшись тайно? Что же, что предавалась недозволенным ласкам в карете? Зато сам устрашающий граф Лаврентьев, за благословением которого она едет с таким трепетом, истинный распутник! Граф теперь может метать громы и молнии в нее и в сына, но напрасно он будет ждать, что Ирена хлопнется ему в ноги или вовсе в обморок. Она будет спокойна и холодна, и этот человек непременно почувствует, что перед ним не какая-нибудь там расчетливая охотница за графским титулом и деньгами (которых, возможно, и вовсе нет из-за очередного… как это?.. опекунского подлога? Нет, залога!), а гордая женщина, способная сама решать свою судьбу!

Она распрямила плечи и уставилась в окошко.

Здесь не стоял глухой стеной лес, как между Владимиром и Нижним, а то и дело среди деревьев открывалась необычной красоты равнина, или уютная долинка, или живописное взгорье, привольное, просторное, светлое, чудно украшенное цветущими рябинами, или боярышником, или сплошными желтыми полосами буйно распустившихся одуванчиков, с всеохватным, ласковым небом, как бы накрывающим округу своим голубым куполом. Чудесное приволье, еще по-весеннему разноцветно-зеленое шевеление листвы… Какие-то птицы носились перед каретою, а потом разлетались по сторонам, имея вид чрезвычайно деятельный и хлопотливый. Кое-где в вершинах деревьев уже чернели гнезда, и Ирена вдруг подумала, что она, как эти птицы, летит в свое новое гнездо, где ей суждено будет «вывести» детей и пропеть свою песенку жизни – в точности как этим хлопотливым пташкам!

Против ожидания сия поэтическая метафора не вызвала в ней никакого умиления, а, напротив, испугала. Дети? Почему-то она никогда о них не думала, а ведь они появятся – и весьма скоро, если судить по всем ее замужним подружкам.

Ирена отчего-то полагала, что они с Игнатием вечно будут любоваться друг другом, чирикая о том, кто в кого сильнее влюблен. Но не минуло и двух недель их бракосочетания, как они уже сидят надувшись, не помышляя ни о каком чириканье, тем паче – о нежностях… Что же будет, когда еще и дети появятся?

Ирена ощутила вдруг себя невероятно одинокой, заблу-

дившейся в этих красивых, восхитительных, но совершенно чужих ей просторах. Что же она делает? У нее на всем белом свете только один близкий человек – это Игнатий. Так что ж она сидит букою, отворотясь от него? Ждет, чтобы он обиделся? Остыл бы к ней? Но у кого она тогда найдет утешение в горестях, к кому приклонит голову на грудь?

Ирена порывисто обернулась к мужу – и от неожиданности даже отшатнулась с испуганным восклицанием, потому что в то же самое мгновенье Игнатий кинулся перед ней на колени и, крепко обняв ее ноги, прижался к ним щекой. Все тело его содрогалось от тяжелых рыданий, а сквозь надрывные всхлипывания прорывалось бормотание, сперва показавшееся Ирене совершенно бессвязным. Но вскоре она стала, хоть и с некоторым трудом, улавливать смысл этих бессвязных восклицаний.

– Ирена… Ирена! – задыхаясь, выкрикивал Игнатий. – Бога ради… не надо так! Не отворачивайтесь от меня! Я не вынесу… я этого просто не вынесу! Вы и не знаете, что значит для меня ваша любовь! Отец… о Господи… отец всегда считал меня ни на что не годным. Он давал мне деньги, но при этом говорил, что куда лучше было бы просто зарыть их в землю. Он думал, что без этих его денег я ничто… просто ничто! Его единственный сын… он презирал и меня, и себя – за то, что у него только такой сын, а другого нет! Он говорил, что я никому не буду нужен, кроме него самого и моей несчастной матери. Он говорил, что я достоин только тас-

каться с крепостными девками, что жену мне придется покупать за большие деньги. И вот, вообразите, Ирена, и вот я встретил вас, и вот вы полюбили меня – такого, какой я есть, ничего обо мне не зная и даже не представляя себе размеров батюшкиного наследства. И я привожу вас в Лаврентьево, показываю отцу: вас, которая ради меня попрала все условности, которая тайно со мной обвенчалась, которая была готова отдаться мне в карете, в наемной карете…

Он внезапно умолк, вскинул голову и уставился на Ирену огромными, влажными от слез глазами. У нее мелко затрепыхалось сердце. Стоя на коленях, бледный – вот уж в точности будто полотно! – Игнатий как никогда был похож на истинного романтического героя, обезумевшего от любви. Пусть некоторые его слова показались Ирене дикими, но ведь Игнатий воистину обезумел. Нет, она была жестока к нему! И с этой мыслью, движимая непременным желанием загладить свою жестокость, Ирена быстро нагнулась вперед и поцеловала его в губы.

Нет, она думала лишь коснуться… но губы ее мгновенно попали в капкан рта Игнатия, который алчно, до боли впился в них. Ирена чувствовала его язык, его зубы и, полуиспуганная, полудовольная таким взрывом чувств, пыталась отвечать так же пылко и так же болезненно. Поцелуй становился все более алчным, Ирене вдруг показалось, что их рты пожирают друг друга. Внезапно Игнатий схватил ее руку и прижал к своей груди.

– Слышите, как сердце бьется? – шепнул он, так резко прервав поцелуй, что у Ирены даже голова закружилась. – Это все вы сделали, все моя любовь к вам! Останови! – закричал он диким голосом, ужасно перепугав Ирену, и заколотил в стенку.

Слышно было, как возница громко, испуганно затпрукал, лошади стали, повозка несколько раз дернулась и замерла.

– Барин, чего изволите? – закричал возница. – Али случилось что? Не зашиблись ли?

– Поди… поди… – закричал Игнатий, приоткрывая дверцу и высовываясь наполовину так, что нижняя часть его тела была все же загорожена. – Поди вон, прогуляйся. Полчаса, ну час. И не подходи сюда, пока я не позову. Дам на водку. А подойдешь… – голос его вдруг сорвался, – а подойдешь – убью! Понял?

– Понял, понял, чего ж не понять! – донесся удаляющийся голос возницы, не в шутку испуганного. – Барин, я не подойду, вот те крест, только ты уж там поскорее управляйся, не то гроза нас застигнет, гроза вон собирается!

– Ладно, я скоро, – буркнул ему вслед Игнатий, захлопывая дверцу и оборачиваясь к Ирене.

Она в испуге вжалась в спинку сиденья, желая – и не в силах отвести глаза от пальцев Игнатия, который принялся расстегивать брюки.

Что, опять?!

Вдруг до Ирены долетел незнакомый голос.

– И давно ты тут комарей кормишь, болезный, пока они там отдыхают? – спрашивал кто-то.

– Да нет… – вяло отвечал возница. – Солнушко вон почти что и не двинулось, да только тучки все ближе сбираются. Ливень ливанет…

– Нет, разве что к ночи гроза сберется, – возразил незнакомец. – И тогда ударит гром в литавры, молния возожжет жертвенные огни…

– Чего? – промямлил немало изумленный кучер, и Ирена поняла, что сама изумлена неожиданным лексиконом.

Она хотела осторожно выглянуть в окошко, чтобы увидеть, какой это путник изъясняется, будто актер захудалого театра, однако Игнатий уже распахнул дверцу и вывалился из кареты, восторженно и недоверчиво крича:

– Ты ли это? Емеля? Емеля, душа Тряпичкин! Софокл беспорточный!

Глава IV
НЕВЕРОЯТНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Ирена какое-то время сидела, испуганно глядя вслед Игнатию и слушая, как его восторженные выкрики перемежаются ответными, по большей части совершенно невнятными, а иногда несусветными, вроде: «Ах ты, студень! Явление второе: те же и… Взгляните, други: вырядился, будто на свадьбу!» Причем издавались все эти восклицания то басом, то волнующим баритоном, то смешным, писклявеньким голосишком, так что Ирене вскоре стало казаться, что там не один какой-то Емеля, а по меньшей мере пятеро или шестеро совершенно разных людей, причем один из них был «Софокл беспорточный». Он что, не одет?!

Наконец, не в силах одолеть любопытства, Ирена быстро поправила шляпку и решилась выглянуть.

Первое, что она с великим облегчением обнаружила, – молодой высокий мужик все-таки был в портках из небеленого холста, сделавшихся уже давным-давно грязно-серыми, а также в коричневом сермяжном армяке, надетом прямо на голое тело и подпоясанном чем-то, в чем после некоторого раздумья Ирена распознала обрывок вожжей, и то лишь потому, что точно такие вожжи тянулись к упряжи небольшой повозки. Это было нечто среднее между обрубленным дор-

мезом и раскоряченным кабриолетом, словом, куцая несуразица, полинявшая и довольно-таки облезлая. Поскольку Емеля не переставал обнимать и увесисто хлопать по плечам Игнатия, вожжи то натягивались, то дергались, вынуждая дергаться низкорослую, косматую и тощую лошаденку, запряженную в этот, с позволения сказать, экипаж. Понимая, очевидно, что коли возница стоит на земле, то ехать никуда не надо и ее только попусту терзают, лошаденка сердито мотала головой, норовя длинными желтыми губами цапнуть своего мучителя то за плечо, то за смешную, нелепую шапку, боком сидевшую на его голове. Это было так смешно, что Ирена не сдержала хохота.

Игнатий и Емеля перестали колотить друг друга по плечам и обернулись к ней. Ярко-коричневые, будто спелые каштаны, Емелины глаза едва не выкатились из орбит при виде Ирены. Он сорвал шапку с головы и подмел ею пыль в поклоне, который сделал бы честь кавалеру времен Людовика XIV, хотя и несколько не вязался с прорехами армяка и косо, лесенкой стриженными белобрысыми лохмами. А впрочем, выражение лица у него было предоброе и черты весьма правильные.

– Приветствую тебя, о чудо красоты! – согнувшись и елозя шапкою по дороге, пробормотал Емеля. – Нимфа, к путнику строгой не будь, подскажи, гнев или милость готовят мне мудрые боги?

Ирена растерянно моргнула, не зная, верить ли своим

ушам. Очевидно, почуяв ее потрясение, Емеля бухнулся на колени и принялся с невероятной стремительностью класть земные поклоны, бормоча:

– Матушка-барыня, милосердная госпожа и кормилица, не вели мя, раба твоего Емельку, казнить, вели миловать. Хошь бы словечко молвить изволь, а мы за тебя век будем Бога молить!

Тут Игнатий, доселе безмолвно глазевший на Емелины телодвижения и ошалелое Иренино лицо, вдруг чуть присел, хлопнул себя по полусогнутым коленям и захохотал так, что обе лошади – и та, на которой ехали Игнатий с Иреною, и Емелина мохнашка – враз испугались и принялись громко, заливисто ржать.

Кучер кинулся к своей, Емеля, прервав представление, – к своей, причем если первый хлестнул лошаденку два раза вожжами по кроткой морде, то Емеля встал в позу и, попытавшись вздернуть на плечо полу армяка, изрек:

– И ты, Брут!

Коняга, верно, смутилась – и умолкла.

– Ирена, ради бога, не пугайтесь, – кое-как сквозь смех выдавил Игнатий. – Этот Емеля, по прозвищу Софокл, – совершенно безобидное существо, вдобавок мой молочный брат, потому я и держусь с ним так, накоротке, – счел нужным объяснить Игнатий. – Вдобавок он не просто абы кто, а премьер батюшкиного домашнего театра, герой, герой-любовник, резонер, злодей, благородный отец, верный слуга –

словом, все амплуа его, ибо талант в самом деле удивительный!

Ирена не без сомнения поглядела на нового знакомца, но следующая, если уж прибегать к театральному лексикону, реплика Игнатия ввергла ее в полный столбняк:

– А это моя жена, молодая графиня Лаврентьева, в девичестве графиня Сокольская. Прошу любить и жаловать.

Ирена не знала, то ли в обморок хлопнуться, то ли зарыдать, то ли расхохотаться презрительно: ее – ее! – в жизни еще не представляли мужику, пусть и крепостному актеру, а они, как известно, пользовались среди прочей дворни некоторыми привилегиями, пусть и молочному брату – ну и что, подумаешь, Станислава тоже выкормила, из-за матушкиной болезни, крепостная мамка, и у нее был свой ребеночек, однако он жил себе да и жил в одной из многочисленных деревень Сокольских, и никто в господском доме даже имени его не помнил. Нет, надо с этой фамильярностью Игнатия непременно покончить. Кто спит с собаками, у того блохи не выводятся! Ей захотелось прямо сейчас, немедля, дать Емеле хорошую оплеуху, чтобы сразу поставить его на место, однако Игнатий явно желал, чтобы она была с Емелею поприветливее, а потому Ирена не стала перечить мужу перед таким ничтожеством, как крепостной мужик, и шевельнула уголками губ, изображая улыбку.

Емеля, впрочем, оказался не способен оценить ее благорасположения: по-прежнему стоял столбом, пялясь на Ире-

ну, и бормотал, тыча в нее пальцем, словно в какого-нибудь настоящего, всамделишного китайца, сидящего в витрине ярмарочного павильона:

– Да хва врать-то, Игнаша! Неужто и прям из графьев? Брешешь, как не совестно! Небось подобрал в нумерах да нарядил как куклу!

– Что?! – рыкнул Игнатий, замахиваясь, однако Емеля оказался проворнее и рухнул на колени, патетически заламывая руки и в голос вопия:

– О грозная, неумолимая царица! Прости раба, что слово глупое промолвил! Не будь, владычица, жестокосердной, вели своим вассалам кинжалы спрятать в ножны. Язык мой – враг, но он еще послужит тебе и мне! Не отрезай его!

Ирена крепилась-крепилась, да не смогла сдержаться – фыркнула. Игнатий же хохотал от всей души.

– Ладно, Софокл, будет паясничать, поднимайся. Ты прощен покуда, ну а впредь забываться не изволь. Скажи лучше, отчего меня с молодой супругою никто не встретил? Неужто не получили письма?

– Получили с опозданием, – смиренно сообщил Емеля, поднимаясь с колен и опасливо косясь на Ирену. – Да и то в нашей суматохе решили: ничего, сам как-нибудь доберешься. Ну потом, уж так и быть, послали меня.

Игнатий даже задохнулся и какое-то время стоял, весь пунцовый от возмущения, не в силах слова молвить.

– Как так – решили? – наконец возмущенно, срываясь на

какой-то петушиный хрип, воскликнул он. – Кто это решил меня не встречать и вместо эскорта прислать мне с графинею такую позорную телегу? Да я за такое… да я… знаешь ли ты, что я сейчас с тобой сделаю, коли ты осмелился мне даже сказать такое?!

– Ну что ж, давай, коси малину, руби смородину, – пожал плечами Емеля, похоже, ничуть не убоявшийся этого взрыва негодования. – Чего валишь с больной головы на здоровую? Я, что ль, распорядился не по твоему хотению? Адольф Иваныч у нас главный управляющий – его воли и есть наказ.

– Какой еще Адольф? – гневно выкрикнул Игнатий. – Не знаю никакого Адольфа!

– Вестимо, не знаешь, – покладисто проговорил Емеля. – Его в Лаврентьево всего лишь год как наняли, ты в эту пору уже в санкт-петербурхах обретался.

– Батюшка мне ни про какого Адольфа не сообщал, – не без обиды поджал губы Игнатий, на что Емеля с прежней рассудительной покладистостью ответствовал:

– А их сиятельство, верно, сочли: на что дитяти голову пустяшностью всякою забивать? Меньше знаешь, лучше спишь.

– Одному удивляюсь, – заносчиво произнес Игнатий. – Как это батюшка позволил, чтобы какой-то там Адольф позволил себе так меня унизить?! Как он не воспротивился, увидев сию колымагу? Или не заметил? Да здоров ли он, я все позабываю спросить?

Емеля раз или два хлопнул глазами, которые внезапно вытаращились до вовсе уж ненормальных пределов. Глядя на него, Ирена впервые полностью осознала смысл выражения: глаза на лоб вылезли.

– Софокл, да полно тебе рожи корчить! – нетерпеливо выкрикнул Игнатий. – Болен, что ли, отец? Ну, и каково он? Не удар ли?

Емеля шлепнул губами, но изо рта его вырвалось только слабое шипение.

– Что? – крикнул Игнатий, еще пуще побагровев. – Что с батюшкою?!

– Так ведь он… уже месяца два… преставился! – кое-как выговорил Емеля. – Разве ты не знал?

Глава V
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

Игнатий стоял недвижим. Ирена зажала рот рукой, увидев, каким бледным сделалось его только что налитое кровью лицо.

– Не знал… – наконец-то смог он выдавить сквозь посеревшие губы.

– Царство небесное их сиятельству! – Емеля размашисто перекрестился. – Вот уж кто, думали, вечен и бессмертен! Однако все мы конечны, и баре не менее мужиков. – Он снова перекрестился, и голос его постепенно утратил приличную печальному известию тихую скорбь и патетически возвысился: – А что? Али они не из той же глины Господом слеплены?

Ирена его, впрочем, и не слушала. Испуганно простерла руки к Игнатию, едва не рыдая от жалости к нему. У нее и самой заболело сердце от внезапности страшной вести – что же должен был испытывать Игнатий? Одно дело – с детским жестокосердием мечтать о том, как со смертью отца он будет сам себе хозяином, другое дело – столкнуться с этой смертью лицом к лицу… Нет, посмотреть ей как бы вслед. Еще неизвестно, что тяжелее перенести Игнатию: весть о кончине отца или пренебрежительное молчание управляющего. Как

этот мерзкий Адольф посмел не сообщить молодому господину о случившемся? Впрочем, может быть, тут виновна почта? Надо надеяться, Игнатий накрепко проучит нерадивого негодяя, слишком о себе возомнившего, а еще лучше – вовсе его уволит… нет, с позором выгонит взашей!

Ирена даже поразилась, откуда у нее вдруг взялась такая ненависть к совершенно незнакомому, ни разу не виденному человеку. И, главное дело, ненависть эта вспыхнула совершенно некстати: сейчас надобно не об Адольфе каком-то там думать, а утешить своего молодого мужа, пережившего страшное потрясение!

Она шагнула к Игнатию, желая обнять, поцеловать эти прекрасные, полные слез глаза, погладить понурую чернокудрую голову, сказать, что горе – это, конечно, горе, но он теперь не один на свете, есть существо рядом, которое разделит с ним все горести и все печали, однако запнулась, удивленная. В лицо Игнатия вернулись краски, плечи его распрямились. Чернокудрая голова вовсе не была печально опущена, сверкающие глаза были совершенно сухими, и вообще – он ничуть не напоминал раздавленного бедою, осиротелого сына.

– Ах ты Софокл чертов! – вдруг проговорил он, обращаясь к Емеле низким голосом, какой бывает у человека, пытающегося скрыть так и рвущееся наружу возбуждение. – Такая новость… а ты все вокруг да около! Напился, да? Вот погоди – я из тебя дурь повыбью. Ты у меня не забалуешь, как

при батюшке! Никто не забалует! – вдруг выкрикнул он, потрясая кулаками, и осекся, опустил руки. Суматошно оглянулся, словно устыдившись.

Емеля, оглаживая переполошившуюся мохноногую лошадку и обращаясь как бы к той, примирительно молвил:

– Ладно, ваше сиятельство, уж будя вопеть-то, давай, повелевай, на ком далее поедешь: на мне али на прежнем кучере?

– Выгружай вещи, Софокл, да поскорее, – приказал Игнатий. – Какая ни есть развалюха, а все ж своя. Но этот ваш Адольф Иваныч мне дорого заплатит за нее… дорого! Кстати о плате: ты уж не сердись на меня, – просительно обратился он к наемному вознице, который с разинутым ртом наблюдал за происходящим. – Мы, конечно, уговаривались до Лаврентьева, однако у меня денег только за полдороги заплатить, а больше нет.

Кучер, обретя наконец дар речи, возмущенно заблажил, однако Игнатий внезапно вспомнил о своем графском достоинстве и так грозно выкатил глаза, так взревел:

– А ну, пшел прочь, дурак! Вот я тебя!.. – что обиженный возница счел за благо убраться восвояси, даже не пересчитав монет, которых ссыпал ему в горсть Игнатий, а свое отношение к свершившемуся выразил особенной грубостью, с которой побросал привязанный к задку его повозки багаж.

Емеля даже закряхтел, увидев эту гору, однако Игнатий не преминул по-новому, по-графски, рыкнуть и на него, а

потому вещи довольно споро оказались погружены заново, накрепко увязаны – и Ирена не успела опомниться, как оказалась сидящей рядом с мужем в очередном экипаже, внутренность которого отличалась от прежнего только тем, что сиденья и стенки были обиты не ржавой, потрескавшейся кожею, а до лысин протертым линялым трипом[6] неопределенного цвета да пахло в карете не мышами, как в прежней, а застарелой плесенью.

Игнатий так и не сказал ей ни слова. Едва Емеля уговорил мохноногую, которая все еще не пришла в себя с испугу, тронуться с места, он откинулся на спинку и закрыл глаза. Ирена, по обыкновению забившись в уголок, исподтишка на него поглядывала.

Голубая жилка билась на виске Игнатия, нервно подрагивали длинные, круто загнутые ресницы, губы были плотно стиснуты, и все лицо его четкостью и отточенностью черт напоминало античный мраморный образ. По горлу Игнатия порою пробегал комок, сплетенные пальцы начинали дрожать, и Ирена поняла, что до ее мужа наконец-то дошла суть свершившегося, постепенно сменив первое оглушительное, неразборчивое потрясение. Да уж, ему было о чем подумать… хотя бы о тех непредсказуемых случайностях, которые способны мгновенно прекратить одну человеческую жизнь – и перевернуть другую.

---

[6] Вид низкосортного бархата, который в основном применялся для обивки мебели.

Судя по Емелиным отрывочным словам, которые услышала Ирена, пока мужчины увязывали багаж, граф Лаврентьев умер по оплошности цирюльника. Нет, тот не перехватил барину спьяну горло опасной бритвою, что было хотя бы понятно и не столь обидно. Срезая графу мозоль, цирюльник слегка зацепил за живое, так что показалась кровь. Обрез был ничтожным, ему и внимания-то никто не уделил, разве что барин насмешливо бросил: «Спасибо! Усердно поработал!» Однако порез не исчез вскорости бесследно, как следовало ожидать, а вокруг него образовалось черное пятно.

Вызванный доктор поглядел на зловещее пятно и сообщил, что налицо старческое умирание конечностей, проявившееся антоновым огнем, который прекратить невозможно.

Да уж! Антонов огонь мгновенно распространился на всю ступню и грозил ползти по ноге. Граф, всегда отличавшийся поразительным хладнокровием и быстрым принятием решений, заявил, что ногу надобно отрезать. Хотя два привезенных к нему и лечивших его доктора титуловались медико-хирургами, оба, лишь дело дошло до операции, стали от нее отказываться. Решили дело наконец-то жребием. При операции могучий духом и телом граф сам, без посторонней помощи держал ногу, ободрял хирурга и только иногда спрашивал: «Ну, скоро вы там?»

Операция закончилась, рана уже стала подживать, как вдруг резко почернела – и жар мгновенно дошел до мозга.

Старый Лаврентьев умер в один день…

Свое страшное сообщение Емеля закончил философическим изречением:

– Ну, что делать, судьба: кому скоромным куском подавиться – хоть век постись, а комара проглотишь – и подавишься.

Наверное, он искренне хотел утешить Игнатия, однако вряд ли это ему удалось.

Конечно, сочувственно рассуждала Ирена, отношения отца с сыном были очень непростыми, а все-таки Игнатий сейчас не может не вспоминать лучших дней их совместной жизни, забот и щедрости отца. Наверное, ему нелегко поверить, что этого больше не будет, что отец навеки закрыл глаза и уже не сказать ему, никогда не сказать о своей сыновней любви.

Она тоже прикрыла глаза, потому что на них вдруг навернулись слезы. Вот если, Господи помилуй, за время ее бегства что-то приключится с отцом и матушкою – каково-то будет чувствовать себя Ирена, узнав об этом? Какая мука ляжет ей на душу!

Сердце защемило от боли, тоски, раскаяния. В который уже раз горько попрекнула себя Ирена за то, что поддалась безрассудному порыву и нанесла такое ужасное оскорбление своей семье. Матушка с отцом уже давно вернулись домой, прочли ее невразумительную записку и… ужаснулись? Впали в отчаяние? Кинулись на поиски своей глупой, заблудшей

дочери? Или прокляли ее, вычеркнули из своей жизни, запретив упоминать даже имя ее и заперев ее комнаты, словно в них обитала прокаженная, даже мысль о которой может нести смертельную заразу?

Ирена с трудом подавила надрывное всхлипывание и взглянула на Игнатия. Он по-прежнему сидел закрыв глаза, с выражением тяжелой задумчивости. И такое одиночество взяло вдруг Ирену за сердце, что она принуждена была прижать к нему руки жестом извечной боли.

Они ведь муж и жена! Они поженились, пылая любовью и желанием быть всегда, нераздельно вместе! Отчего же сейчас, в самую тяжкую минуту их недолгой совместной жизни, они сидят врозь, отодвинувшись друг от друга как можно дальше – словно нарочно разъединившись перед лицом горя, которое должно было объединить их…

Ах, если бы Игнатий сейчас обнял ее, поцеловал… хотя бы приласкал рассеянно! Хотя бы снова начал приставать со своими пугающими непристойностями – она, кажется, стерпела бы и это, только не сидеть вот так, сжавшись в уголке, бездомною, никому не нужной бродяжкою!

Жалость к себе с такой силой вспыхнула в сердце Ирены, что она с трудом подавила желание искательно, просяще прильнуть к Игнатию – не затем, чтобы его утешить, а утешиться самой. Так заласканная кошка, обидевшись, что призадумавшийся хозяин не обращает на нее внимания, тычется мордочкой в его безучастно повисшую ладонь, подла-

зит под руку, нетерпеливо и раздраженно мяукая: ну погладь же ты, мол, меня!

Ну нет. Ирена не кошка! И если Игнатий не понимает, что все беды (а не только радости!) муж и жена должны делить пополам, она научит его. Только не сейчас. Немного времени спустя. Когда оставит его тяжкая задумчивость, а у Ирены высохнут предательские слезы.

Она отвернулась к окну, уставилась на скачущие мимо леса: дорога здесь была неровная, очевидно, они уже свернули от главного пути к Лаврентьеву.

Чем дальше гнал Емеля свою низкорослую, но очень выносливую лошаденку, тем более начинали редеть деревья, и вдруг сквозь них, сверкнув со всех сторон, открылась неширокая речка, окаймлявшая долину. По долине тянулась деревенька, затем роща, просторные поля… Все было озарено ласковым, уже не слепящим, а мягким предзакатным солнцем, которое бережно высвечивало каждый листок, каждую травинку, каждую веточку, словно торопясь полюбоваться их красотою и свежестью, прежде чем заиграют в небесах буйные краски заката, а им на смену явится темная, неразборчивая ночь.

Замелькали деревенские избы. Улочка была довольно чиста, хотя непременная свинья возлежала в непременной луже, так привольно перегородившей дорогу, что карета пробралась через нее, лишь чудом не увязив колеса.

Емеля громко кричал на лошадь; Игнатий, очнувшись от

задумчивости, выглядывал в окно с выражением острого, болезненного любопытства, как если бы оказался здесь впервые.

Наконец деревенька осталась позади. За околицей Ирена увидела сколоченную из бревен перекладину, на которой висел колокол. В такие колокола били набат при пожаре или другой тревоге. Но все кругом было тихо и мирно. Вдали виднелась вереница белых платочков и разноцветных сарафанов, юбок, кофт: с полей гуськом шли бабы, закинув на плечи тяпки, с белыми узелками в руках.

– Останови, Софокл, – вдруг сказал Игнатий, а поскольку Емеля не услышал, завопил что было мочи: – Останови, тебе говорят!

Оглушенная, испуганная Ирена зажала уши.

Игнатий выскочил из кареты, оскользнулся на лепехе навоза, громко чертыхнулся и кинулся к набатному колоколу. Схватился за веревку, дернул раз, и другой, и третий…

Тяжелый, тревожный гул прокатился над деревней.

– Ты что делаешь, Игнаша? – испуганно вскричал Емеля. – Да сюда сейчас уйма народу сбежится!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.